

Союз писателей России

Тамбовский 
АЛЬМАНАХ

№ 22



Тамбов • 2021

УДК 821.161.1
ББК 84 (2=411.2)6я4
Т17

Тамбовский АЛЬМАНАХ № 22

Литературно-художественное издание
Тамбовского отделения Союза писателей России
Издаётся с 2005 года.

Главный редактор

Юрий МЕЩЕРЯКОВ, *поэт, прозаик*

Редакционный совет

Олег АЛЁШИН, *поэт, публицист,
главный редактор «Рассказ-газеты»*
Валентина ДОРОЖКИНА, *поэтесса,
прозаик, литературовед*
Мария ЗНОБИЩЕВА, *поэтесса,
литературовед*
Сергей КОЧУКОВ,
прозаик, публицист, историк
Татьяна КУРБАТОВА, *поэтесса*
Елена ЛУКАНКИНА,
поэтесса, прозаик, публицист

ISBN 978-5-6047343-3-9

УДК 821.161.1
ББК 84 (2=411.2)6я4
Т17

© СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ
Тамбовское отделение

Русь

Обжитый мир под солнцем, под луной
И под лучами звёздными косыми,
Где дух веков кружится надо мной
И распахнулся далями России.
И я иду навстречу тем векам,
Голубоглазый, русский, коренастый.
Колосья прикасаются к рукам,
Озёра колыхаются глазасто.
Земля всю вращается, кричит
Холмом, золой, что с ней на свете было...
Роняет солнце тихие лучи
На обелиск, на братскую могилу,
И кланяюсь я прошлому опять,
Родной земле за все крутые были.
Я в мир пришёл – творить, а не рыдать,
Века и так к нам на слезах приплыли...
Нам прошлое сегодня, как броня,
И в нас живут его земные боли.
Не потому ль мы встали у огня,
Не потому ль мы распахали поле?!
И, вглядываясь в лица наших дней,
В лицо огня и пашни, неба, пуши...
Мне каждый раз становится видней
Прямая связь меж прошлым и грядущим.

Вячеслав БОГДАНОВ



Мария ЗНОБИЩЕВА

Осенние собеседники

Стихи

Встречи

Мне снился сон: повсюду были души,
Сплошные души – солнечная суть,
А дом души, казалось, был разрушен:
Глаза молчали, но дышала грудь.
Иные шли, ведя в уме подсчёты,
И чинно клали Господу поклон,
Но все низины духа, все высоты
Вдруг стали зримы – так устроил Он.

Учитель нёс слова для восхваленья
Себя, своих бичующих речей,
И если в ком встречал сопротивление,
То не жалел карающих бичей.
Нёс лекарь чашу и над нею змея.
Казалось, чаша мёдом налита,
И вился змей, обворожить умея,
Но без любви она была пуста.

Красавицы несли себя как яства
На пир кровавых каменных богов,
Позвякивали яркие убранства
Подобно кольцам жертвенных быков.
И юноши, пытаясь им поверить,
Проигрывали страшные бои,
И даже дети приучались мерить
Манящий шёлк змеиной чешуи.

Всё туже, туже скручивался кокон
Знакомых улиц – стой и не дыши!
Я в ужасе бежала мимо окон,
Чтоб не увидеть собственной души.
Не утешало: «рвётся – значит, тонко»,
Я б не хотела увидать рваньё,
И всё-таки, взглянув в глаза ребёнка,
Оторопело встретила её.

Чернели пустотой глазные ямы,
Кривился рта темнеющий провал,
Но в первый раз сказал ребёнок: «Мама!»
И темноту мою поцеловал,
Простив вину, которой нет прощенья,
К судьбе моей прильнув своей судьбой...
Так, Господи, не зная отвращенья,
Ты каждый раз целуешь прямо в боль.

Человек

Листья падают, дождь ли, снег, –
После странствий своих недалних
На земле лежит человек –
Тих, как шёпот в исповедальне.

И покуда его душа,
Рея рядышком, воздух морщит,
Мухи ползают не спеша
По спине и штанам намокшим.

Неприкаян и невесом,
Он ладонь подложил под щёку
И таинственный смотрит сон
Так, как дети глядят сквозь щёлку.

Словно в бурю хочет поймать
Письма моря из всех бутылок.
А ведь тоже когда-то мать
Целовала его в затылок,

Ненаглядным звала сверчком,
Шила крошечные одёжки;
Пахли мёдом и молоком
Щёчки, пяточки, лоб, ладошки.

Листья, ливни ли, смех ли, снег...
Милый, дорог ли ты кому-то?
Это падает человек,
Каждый день, каждую минуту.

Два кладбища

Каждый день я иду мимо кладбища.
Там звенят соловьи переливами,
Там зевают озябшие ландыши,
Пахнет снегом и мокрой крапивою.

Не гони меня, Чистый, нечистую,
Этих камней могу не касаться я.
Белым светом исходит неистово,
Осыпаясь под ветром, акация.

Все печали оплаканы, розданы
Все долги, и отбыты повинности.
И такая в пронзительном воздухе
Жизнь клубится, что страшно не вынести.

Я с другого пришла сюда кладбища –
Мира офисов, ставших могилами.
Из вселенной, где пальцы по клавишам
Пляшут так, словно плачут над милыми.

Где изящно подвязаны галстучки,
Безупречные, как репутации,
Где и любят, и губят для галочки,
Для портфолио и презентации.

Для отчёта на маленьком брифинге,
Где секундна длина выступления,
Где со взглядом скучающей пифии
Смерть ведёт протоколы Правления.

Там с душой не позволено нянчиться:
Тихо дома сиди, малолетняя.
Покажи мне, где Жизнь начинается –
Букву первую, букву последнюю...

Разговор

Улыбнулась спокойно и просто,
Словно сердцу игрушку дала:
– Нам дорога одна: до погосту.
Нагостились. Такие дядя...

И по сизым сосновым вершинам
Древний ветер неслышно прошёл.
И, шумя, шелестели машины
Мимо этих заброшенных сёл.

– Ты сама-то, поди, из Тамбова?
Может, знаешь сынка моего?
Он таксист, а по имени Вова.
Ты, наверно, видала яво.

– Может быть...
– Энто младшенький, дочка.
– Молодой он у вас?
– Молодой.

Пятьдесят яму скоро годочков,
У висков ещё только седой.

И представить его мне нетрудно –
Словно сжатого в крепкий кулак,
А мальчишкой у той вон запруды,
С хохолком на затылке... – никак!

Но в глазах у Марии Андревны,
Ни печали, ни горечи нет:
Пруд, муравка, заря над деревней –
То, с чем дети родятся на свет.

...Что ей время? И что ей полвека?
Так же в ветре плывут ковыли,
Где с избытком дано человеку
И любви, и беды, и земли.

Срок ожидания

Отшумела листва, надломился хрустящий ледок,
И от выпретенных слов пересохшие губы отвыкли,
Но желты фонари, и румян, как мальчишка, восток,
И ноябрь улыбается ломтиком сахарной тыквы.

Лица встречных прекрасны, случайная радость – нежна,
Словно мыльный пузырь, за которым бежать бесполезно.
Помнишь, лестницу в небо? Не видя опоры, она
Зашаталась, упала и стала дорогой железной.

Приглашает забраться подальше – в оранжевый дым
Облетевших лесов, но идти – не хватает дыханья.
Всё вокруг поцеловано ласковым взглядом твоим,
И в литую пружину сжимается срок ожидания.

Поговори с деревьями

Поговори с деревьями. Они
Попятились, слегка ослеплены
Неласковым голубоватым блеском
Ещё вчера уступчивой реки,
А нынче лёд сверлили рыбаки,
Последний луч натягивая леской.

Поговори. Их шум шероховат.
Зелёной лести листьев, говорят,
Не пить реке до самого июня.
Но чуткий смысл, что каждой веткой гол,
Тугой, узлами скрученный глагол,
Того луча неистовой и струнной.

Я рядом, дерево. Едва дышу.
Но дышишь ты, а всё другое – шум,
И я цепляюсь за тебя корнями.
Я выживу и тоже – прорасту,
Вонзая ветки в злую мерзлоту –
За облако, парящее над нами.

Отпускать

Мало просто любить и беречь. Есть другая тоска:
В первый раз, когда травы подёрнутся инеем белым,
Свейся в узел и губы сожми – научись отпускать –
В два крыла, на любые дела, за любые пределы.

Помнишь тёплые гнёзда в руках молчаливых берёз,
Под вечерней звездой затихающий в шорохе посвист?..
Сколько звёзд – столько птиц, но сочти: сколько птиц,
сколькo звёзд
Под крылом засыпало – и сколько останется после?

Как ты это выносишь, земля золотая моя?
Полотняное небо разодрано криком и плеском.
«Там теплее», – ты скажешь. Но я ненавижу края,
Что откроются им за последним твоим перелеском.

О, как ты отпускаешь! Скрывая последнюю дрожь,
Всеми рощами плещешь и радуги ладишь в полсвета.
Улетают – жива, улетят – и ты сразу умрёшь,
Но премудра зима, и они не узнают об этом.

Пусть им будет тепло, они взяли здесь всё, что могли...
Затворить ворота да на семь бы замков запереться,
Чтоб не слышать, как третьи сутки кричат журавли,
Улетающим клином вонзаются в сердце.

В деревнях, занесённых то листьями, то снегами...

В деревнях, занесённых то листьями, то снегами,
Чёрным маслом лоснясь, вздымается чернозём.
Перейдёшь через реку с кисельными берегами,
И увидишь у края хату – там и живём.

До неё через рощу – тропинкой – всё прямо, прямо.
А за хатой нашей кладбище да пустырь.
– Гуси-лебеди? Пролетали... Куды – не знаю.
Печка знала, но этой печки и след простыл.

Облетевшим пеплом в травах змеится проседь,
Зеленей не станут – сколько воды ни лей...
Разве яблоня помнит?.. Ветви поднять попросит,
А они Креста Голгофского тяжелей.

И река не укроет. Она и сама как рана.
Нынче лебеди низко – чую: не быть добру.
Так что ты не надейся, Марья. Ищи Ивана
За горой, во сыром бору, на крутом яру.

А найдёшь – не узнаешь. Он уж не тот, сестрица,
Так что ты погоди чуток, не сымай платка.
Стал он зол и велик, ему уж, поди, за тридцать,
А в глазах заозёрной хмарью стоит тоска.

Заросли все дороги... Куда вам обоим деться?
Как живую водой, умойтесь своей виной.
Унесли гуси-лебеди синее ваше детство
Прямо в кущи небесные, за море, в мир иной.

На закате

Если это закат, то нужно ли выбираться?
Постелить бы постель, замкнуть железную дверь.
Для чего мы летим на свет, попадая в рабство
Неоконченных мыслей и неизбежных потерь?

Так смешны на закате планы на воскресенье:
Именины, крестины, свадьбы, торги, враги.
Так пронзительно лихорадочное веселье,
Но за ним (беги – не беги), не видно ни зги.

Мы живём на закате. Немыслимом. Небывалом.
Солнце стынет, и отражается сердце в нём.
Наши лица и руки окрашены ярко-алым,
Древнеримским, прощально-августовским огнём.

Истончаются, тают свечи высокой лепки.
Мир живёт ожиданьем итоговых новостей.
И уже не так объятья влюблённых крепки,
И уже не так прозрачны глаза детей.

Только в детской руке влекущей всё та же сила.
Да, мы выйдем из дома. И нас ещё ждёт полёт!
Ты, душа, на закате рождённая, будь красивой
И возьми столько света, сколько в тебя войдёт.

Всегда

Не бойся, не бойся, не бойся, не бойся, не бой...
А что же тогда? Неотступная страшная сеча.
Зачем этим стаям их гулкий весенний разбой,
Полёт вразнобой и пронзительный крик человечесий?

Зачем эта нежность? Зачем этот воздух кудряв?
Зачем так тепло у лучистого тела берёзы?
Зачем просыпаются в люльках лепечущих трав
Пролески и бабочки, и голубые стрекозы?

Зачем во всё небо закатный румянец стыда?
Не знавшее грязи, чего оно может стыдиться?
Какую дремучую тайну скрывает вода,
Дающая жизнь даже слизням, червям и мокрицам?

Зачем улыбаются дети не мимо тебя,
А в самое сердце, в сплетение радуг и молний,
Туда, где крылатый архангел порхает трубя
И блещут, и плещутся синие древние волны?

И дом на песке, и пленительный терем из льда
Растают, рассыплются, мороком времени маясь...
Я только хотела сказать, что ты будешь всегда.
Ты будешь всегда – помнишь, помнишь, душа?

понимаешь?..

Осенние собеседники

Каждый куст – золотые объяття,
Плач и дрожь, малахитовый смех.
«Я люблю, я люблю тебя, я те...» –
Прячу сердце и прячусь от всех.

... Слиться с ливнем, чей почерк воздушен,
И зарыться лицом наугад
В Божью бороду, в детскую душу,
В день осенний, в ночной листопад.

Всколыхни, потревоженный ветер,
Это пламя встречающих рук!
Всем, кому неприятно на свете,
Всем, кто друга не видит вокруг,

Каждый куст – золотые объяття:
«Ты как я – если можешь, лети», –
Это машут ладошками братья
Накануне иного пути.





Николай НАСЕДКИН

Три романа Достоевского

К 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского

Сразу надо уточнить, что речь пойдёт не о «Преступлении и наказании» или, допустим, «Братьях Карамазовых», речь о реальных, земных романах писателя, которые он в муках и радостях пережил в своей судьбе и которые, конечно же, отразились-аукнулись в его творчестве, помогли достоверно отобразить полные страстей отношения героев «Униженных и оскорблённых», «Игрока» и других произведений.

Мария

Первая любовь пришла к Достоевскому поздно, в 33 года, но накал её, может быть, от этого был ещё более ярок. До каторги автору «Бедных людей» довелось лишь испытать безответное увлечение Авдотьей Яковлевной Панаевой, которое он легко пережил. Теперь же не то! В Семипалатинске, где писатель-петрашевец отбывал солдатчину после каторги, он встретил Марию Дмитриевну Исаеву, жену местного

чиновника. К тому времени муж Марии Дмитриевны совершенно спился, семья жила в нищете, все мечты романтической 30-летней женщины терпели крах. Достоевский не мог не привлечь её внимание, а она – его: уж больно заметно оба они отличались от семипалатинского общества. По свидетельству А. Е. Врангеля, близкого друга писателя той поры, Исаева была «довольно красивая блондинка среднего роста, очень худощавая, натура страстная и экзальтированная. Уже тогда зловещий румянец играл на её бледном лице, и несколько лет спустя чахотка унесла её в могилу. Она была начитанна, довольно образованна, любознательна, добра и необыкновенно жива и впечатлительна...» Эта женщина поразила Достоевского и внешностью, и интеллектом и, думается, не в последнюю очередь вот этим самым чахоточным романтическим румянцем. Он стал буквально пропадать в доме Исаевых по целым дням. Муж Марии Дмитриевны, человек тихий, смиренный, тоже чахоточный и крепко пьющий, никак не мог служить помехой в развитии их романа.

Врангель уверяет, что-де любви со стороны Исаевой никакой не было – она всего лишь «пожалела несчастного, забитого судьбою человека». И далее мемуарист даже с какой-то горечью констатирует: Фёдор Михайлович жалость принял за любовь и сам влюбился без памяти. Врангель писал свои воспоминания спустя четверть века после смерти Достоевского, уже зная всё его творчество. Неужели ж он забыл, как умели любить и как воспринимали любовь герой-рассказчик «Белых ночей», Иван Петрович в «Униженных и оскорблённых», Разумихин в «Преступлении и наказании», князь Мышкин в «Идиоте», Шатов в «Бесах», Дмитрий Карамазов, наконец? Для этих героев, как и для их создателя, главным было – любить самому, жить этим всепоглощающим чувством и отдаваться ему целиком со всем пылом сердца и души без остатка, вплоть до гибели. И

если предмет любви хотя бы не отвергает их чувства, не отталкивает, а, наоборот, отвечает хоть в какой-то мере взаимностью – пусть это называется состраданием, жалостью, уважением, – это уже верх блаженства и счастья.

Конечно, Достоевский знал-видел, не мог не знать (да Мария Дмитриевна и говорила об этом прямо), что возлюбленная его головы не теряет: от нищего мужа-пропойцы (а он в то время ещё и лишился работы) она никак не могла уйти к тоже нищему, бесправному, больному и совершенно, как тогда казалось, бесперспективному литератору. Однако ж, на первых порах романа уже одно общение, каждодневные встречи, близость с этой необыкновенной по семипалатинским меркам женщиной превратило для Достоевского солдатчину в райскую жизнь.

Но вскоре, в конце мая 1855-го, через несколько месяцев после начала их отношений, муж Исаевой получает место службы в городе Кузнецке, за пятьсот вёрст от Семипалатинска. Врангель свидетельствует: «Отчаяние Достоевского было беспредельно; он ходил как помешанный при мысли о разлуке с Марией Дмитриевной; ему казалось, что всё для него в жизни пропало. <...> Сцену разлуки я никогда не забуду. Достоевский рыдал навзрыд, как ребёнок...»

Добрый друг Александр Егорович накачал Исаева шампанским, дабы «голубки» могли без помех проститься. После проводов отъезжающих далеко за город вернулись домой на рассвете. «Достоевский не прилёт – всё шагал и шагал по комнате и что-то говорил сам с собою <...> лежал весь день, не ел, не пил и только нервно курил одну трубку за другой...»

Какая невероятная жалость, что из всей интенсивно-лихорадочной переписки Фёдора Михайловича с Марией Дмитриевной периода вынужденной разлуки (а писал бедный тоскующий солдат в Кузнецк чуть ли не каждый

день!) сохранилось лишь одно-единственное письмо Достоевского – от 4 июня 1855 года. Но и по нему можно вполне составить представление о накале его страсти: «...Только об Вас и думаю. К тому же, Вы знаете, я мнителен; можете судить об моём беспокойстве. <...> Если б Вы знали, до какой степени осиротел я здесь один! Право, это время похоже на то, как меня первый раз арестовали в сорок девятом году и схоронили в тюрьме, оторвав от всего родного и милого. Я так к Вам привык. На наше знакомство я никогда не смотрел, как на обыкновенное, а теперь, лишившись Вас, о многом догадался по опыту. <...> Вы были мне моя родная сестра. Одно то, что женщина протянула мне руку, уже было целой эпохой в моей жизни. <...> Сердце моё всегда было такого свойства, что прирастает к тому, что мило, так что надо потом отрывать и кровенить его. Живу я теперь совсем один, деваться мне совершенно некуда; мне здесь всё надоело. Такая пустота! <...> Когда-то дождусь Вашего письма! Я так беспокоюсь! <...> Прощайте, незабвенная Марья Дмитриевна! Прощайте! ведь увидимся, не правда ли? <...> Прощайте, прощайте! Неужели не увидимся. Ваш Достоевский».

Надо учесть, что это письмо написано ещё к чужой жене, да ещё и с вероятностью прочтения её мужем – отсюда и «сестра», и строки о «дорогом друге» и «добрейшей души человеке» Александре Ивановиче Исаеве (которые для экономии места пришлось сократить), и изо всех сил сдерживаемые выплески чувств. Можно только представить, какие страсти бурлили в более поздних письмах-посланиях Фёдора Михайловича к Марии Дмитриевне – уже вдове, потом любовнице молодого кузнецкого учителя Вергунова и, наконец, своей невесте. Однако ж, в какой-то мере об этом мы можем судить по письмам Достоевского к Врангелю, который в конце 1855 года совершает длительные служебные

поездки в Бийск и Барнаул (он занимал в Семипалатинске должность стряпчего по уголовным и гражданским делам, по нынешнему – прокурора), а в самом начале 1856 года уезжает из Сибири в Петербург и, к нашему счастью, бережно сохранит все послания друга-писателя из семипалатинской ссылки.

Ещё в Бийск Фёдор Михайлович сообщает Александру Егоровичу горестную, но для него подспудно – чего уж там кривить душой! – и сулящую радужные matrimониальные перспективы весть о смерти в Кузнецке А. И. Исаева. Кончина горемыки последовала 4 августа 1855 года, ровно – день в день – через два месяца после написания уже цитировавшегося письма Достоевского в Кузнецк, в котором он жмёт крепко руку Александру Ивановичу, целует его, называет братом и желает-советует тому на новом месте быть поразборчивее в людях, не водить дружбы с грязными собутыльниками и выражает надежду, что «брат» на пожелания эти не рассердится... Исаев толком воспользоваться не успел дружески-братскими советами своего *соперника*. А у Достоевского вскоре, как уже упоминалось, появится новый соперник и опять же «брат» – Н. Б. Вергунов.

Если бы сам писатель не рассказал впоследствии в художественной форме и очень убедительно о подобных взаимоотношениях между соперниками в романе «Униженные и оскорблённые», в это просто невозможно было бы поверить. Любовный треугольник в книге (Иван Петрович – Наташа Ихменева – Алёша Валковский) в точности повторяет-копирует жизненный любовный треугольник (Достоевский – Исаева – Вергунов). Многомудрый не по возрасту Н. А. Добролюбов, разбирая-рецензируя роман «Униженные и оскорблённые», желчно обронит по поводу странностей любви Ивана Петровича: «Что за куричьи чувства!..» Многоопытный 25-летний критик «Современника»

сомневался, что подобные чувства мог испытывать реальный человек в действительной жизни. Он не хотел верить, что автор «Униженных и оскорблённых» – не романтик, не сентименталист, а реалист чистой воды, и не знал, что Иван Петрович во многом является автопортретным и автобиографическим героем.

Вспомним, что ещё в «Белых ночах» сделан как бы эскиз подобного сюжетного хода: герой-рассказчик добровольно становится посредником между любимой девушкой и своим более счастливым соперником. Тогда, в 1848-м, это действительно была фантазия молодого Достоевского на тему *странностей любви*. И вот судьба, словно подыгрывая писателю, подбросила ему похожую жизненную ситуацию, дабы в «Униженных и оскорблённых», а позже и в «Идиоте» он мог воссоздать болезненные взаимоотношения героев, руководствуясь личным мучительным опытом.

Итак, до Семипалатинска допорхнули тревожные вести о предполагаемом новом замужестве вдовы Исаевой. Достоевский пишет в это время (23 марта 1856 г.) Врангелю пространное письмо (более десяти страниц убористого текста), переполненное жалобами, страхами, отчаянием и бессильными проклятиями на горькую судьбину. Причём, надо подчеркнуть, речь ещё идёт не о реальном сопернике Вергунове, который объявится-появится позже, а только о намёках самой Марии Дмитриевны и слухах-сплетнях из Кузнецка. Вот лишь несколько фрагментов из этого письма-гимна несчастной ускользящей любви:

«Уведомляю Вас, что дела мои в положении чрезвычайном. La dame (la mienne) /моя дама/ грустит, отчаивается, больна поминутно, теряет веру в надежды мои, в устройство судьбы нашей и, что всего хуже, окружена в своём городишке (она ещё не переехала в Барнаул) людьми, которые смастерят что-нибудь очень недоброе: там есть женихи.

Услужливые кумушки разрываются на части, чтоб склонить её выйти замуж, дать слово кому-то, имени которого ещё я не знаю. <...> Я предугадывал, что она что-то скрывает от меня. <...> И что ж? Вдруг слышу здесь, что она дала слово другому, в Кузнецке, выйти замуж. Я был поражён как громом. В отчаянии я не знал, что делать, начал писать к ней, но в воскресенье получил и от неё письмо, письмо приветливое, милое, как всегда, но скрытное ещё более, чем всегда. Меньше прежнего задушевных слов, как будто остерегаются их писать. Нет и помину о будущих надеждах наших, как будто мысль об этом уж совершенно отлагается в сторону. Какое-то полное неверие в возможность перемены в судьбе моей в скором времени и наконец громовое известие: она решилась прервать скрытность и робко спрашивает меня: “Что если б нашёлся человек, пожилой, с добрыми качествами, служащий, обеспеченный, и если б этот человек делал ей предложение – что ей ответить?” Она спрашивает моего совета. <...> Просит обсудить дело хладнокровно, как следует другу, и ответить немедленно <...> прибавляет, что она любит меня, что это одно ещё предположение и расчёт. Я был поражён как громом, я зашатался, упал в обморок и проплакал всю ночь. Теперь я лежу у себя <...>. Неподвижная идея в моей голове! Едва понимаю, как живу и что мне говорят. О, не дай Господи никому этого страшного, грозного чувства. Велика радость любви, но страдания так ужасны, что лучше бы никогда не любить. Клянусь Вам, что я пришёл в отчаяние. <...> Я написал ей письмо в тот же вечер, ужасное, отчаянное. Бедненькая! ангел мой! Она и так больна, а я растерзал её! Я, может быть, убил её этим письмом. Я сказал, что я умру, если лишусь её. Тут были и угрозы и ласки и униженные просьбы, не знаю что. <...> Но рассудите: что же делать было ей, бедной, брошенной, болезненно мнительной и, наконец, потерявшей всю веру в устройство судьбы

моей! Ведь не за солдата же выйти ей...»

Здесь возникает резонный вопрос: это кому же Фёдор Михайлович объясняет-оправдывает поведение Марии Дмитриевны – Врангелю или себе? Далее он начинает упорно твердить, опять же пытаясь, скорее всего, уверить самого себя, что она только его одного и любит, что решение её о замужестве в Кузнецке находится ещё только в проекте и что всё ещё, вероятно, можно переменить... Но успокоить-утишить себя никак не получается, и Достоевский вновь выплёскивает на бумагу всё своё запредельное горе-отчаяние:

«<...> Теперь что мне делать! Никогда в жизни я не выносил такого отчаяния... Сердце сосёт тоска смертельная, ночью сны, вскрикивания, горловые спазмы душат меня, слёзы то запрутся упорно, то хлынут ручьём. Посудите же и моё положение. Я человек честный. Я знаю, что она меня любит. Но что если я противлюсь её счастью? <...> Отказаться мне от неё невозможно никак, ни в каком случае. Любовь в мои лета не блажь, она продолжается два года, слышите, два года, в 10 месяцев разлуки она не только не ослабела, но дошла до нелепости. Я погибну, если потеряю своего ангела: или с ума сойду, или в Иртыш! <...> я готов жизнь мою за неё отдать и отказался бы от всех надежд моих в её пользу. <...> Поймите же, что это для неё смерть и гибель выйти там замуж! <...> Она в положении моей героини в «Бедных людях», которая выходит за Быкова (напророчил же я себе!)...»

Между жалобами и стенаниями письмо заполнено прожеками страдающего влюблённого солдата о кардинальном переустройстве своего статус-кво: как вырваться с помощью петербургских влиятельных знакомых из солдатчины, как начать печататься хотя бы инкогнито (а ни одного законченного произведения, за исключением «Детской сказки», ещё и в помине нет!), как раздобыть денег, дабы

«откупить» бедствующую Марию Дмитриевну от вынужденного брака...

А между тем, социальный статус бывшего петрашевца начинает повышаться. И это внушает ему уже конкретные надежды на возможность повести Марию Дмитриевну под венец. Он уже унтер-офицер, в кругах высшего военного начальства рассматривается – и вполне благожелательно – вопрос о производстве его в прапорщики, а это, в свою очередь, даст-подарит возможность опальному писателю, во-первых, вновь свободно печататься и, во-вторых, уже реально хлопотать о выходе в *статскую жизнь*. Казалось бы, надо только ждать и радоваться...

Но вот в это-то время и обрушивается на Достоевского со стороны его возлюбленной жестокий удар. В начале июня 1856 года он нелегально вырывается в Кузнецк, встречается с Исаевой, и она признаётся ему в своём «увлечении» учителем Вергуновым. И опять же мы все эти сцены разыгравшейся реальной любовной драмы, все переживаемые Достоевским чувства, можем легко представить, вчитываясь в соответствующие страницы «Униженных и оскорблённых». Вот, к примеру:

« – Как! Сам же и сказал тебе, что может другую любить, а от тебя потребовал теперь такой жертвы?

– <...> Что ж? Лучше, что ль, если б он лгал? А что он увлётся, так ведь стоит только мне неделю с ним не видаться, он и забудет меня и полюбит другую, а потом как увидит меня, то и опять у ног моих будет. Нет! Это ещё и хорошо, что я знаю, что не скрыто от меня это; а то бы я умерла от подозрений. Да, Ваня! Я уж решилась: *если я не буду при нём всегда, постоянно, каждое мгновение, он разлюбит меня, забудет и бросит*. Уж он такой; его всякая другая за собой увлечь может. А что же я тогда буду делать? Я тогда умру... да что умереть! Я бы и рада теперь умереть! А вот каково

жить-то мне без него? Вот что хуже самой смерти, хуже всех мук!..»

Можно подумать, что здесь с примером что-то напутано, но это не так. Да, «повествователю» Ивану Петровичу автор, само собой, подарил и черты автобиографичности-автопортретности, и свой литературный талант, и своё поведение периода первой влюблённости... Но самый интерес как раз в том и состоит, что свои личные мысли-чувства-переживания без памяти любящего, но сомневающегося во взаимности человека, готового безропотно добиваться благосклонности предмета любви вновь и вновь, Фёдор Михайлович доверил как раз Наташе Ихменевой. Это очень наглядно видно, если сопоставить данный отрывок из романа с письмом Достоевского всё тому же Врангелю от 14 июля 1856 года:

«...Я увидел её! Что за благородная, что за ангельская душа! Она плакала, целовала мои руки, но она любит другого. Я там провёл два дня. В эти два дня она *вспомнила прошлое*, и её сердце опять обратилось ко мне. <...> Я провёл не знаю какие два дня, это было блаженство и мученье нестерпимые! К концу второго дня я уехал с *полной надеждой*. Но вполне вероятная вещь, что отсутствующие всегда виноваты. Так и случилось! Письмо за письмом, и опять я вижу, что она тоскует, плачет и опять любит его более меня! <...> Я не знаю ещё, что будет со мной без неё. Я пропал, но и она тоже...»

Далее Достоевский пересказывает другу-товарищу все резоны против брака Марии Дмитриевны с Вергуновым, каковые он перед этим высказывал горячо и ей, и своему сопернику тоже в письме, посланное на имя обоих сразу после тайной поездки в Кузнецк и которое, увы, тоже не сохранилось. Он попытался внушить Вергунову и любимой, чуть ли не отечески, что-де ему, Николаю Борисовичу, в его 24 года, с

учительским жалованием, с безрадостной перспективой так навсегда и застрять в глухоманной Сибири, не следует губить судьбу женщины старше его, образованной, выдавшей свет, больной, да ещё и имеющей на руках ребёнка. Между прочим, Фёдор Михайлович за эти два дня в Кузнецке «сошёлся» со своим молодым соперником-разлучником, который даже у него «плакал на плече». Но, вероятно, вновь вспыхнувшие чувства к нему, учителю, со стороны Марии Дмитриевны и вновь удалённость конкурента иссушили сентиментальность Вергунова, и он не только написал Достоевскому «ответ ругательный», но и сумел «вооружить» Исаеву против него. «Я как помешанный в полном смысле слова всё это время...», – вырывается из-под пера Фёдора Михайловича.

И что же, в конце концов, делает этот «помешанный», униженный, вновь отставленный и теряющий последние надежды на взаимность любимой женщины и совместное счастье с нею человек? Можно было бы догадаться, помня-зная содержание «Униженных и оскорблённых», но проще и нагляднее дочитать данное письмо Врангелю до конца и узнать, что: 1) Достоевский продолжает активно хлопотать об устройстве сына Исаевой, Паши, воспитанником в Сибирский кадетский корпус (и хлопоты эти позже увенчаются успехом); 2) хлопочет также о выделении денежного пособия вдове Исаевой и 3) просит-умоляет Александра Егоровича подыскать новое, более денежное место... Вергунову! Да, да! Уж такие, видимо, Фёдор Михайлович испытывал «куричьи чувства», что ради любимой женщины взялся-решился хлопотать об устройстве судьбы своего более счастливого соперника. «Она не должна страдать. Если уж выйдет за него, то пусть хоть бы деньги были. <...> Это всё для неё, для неё одной. Хоть бы в бедности-то она не была, вот что!...»

Ровно через неделю Врангелю отсылается из Семипалатинска новое письмо, которое ярко свидетельствует об обострении ситуации и о сверхкритическом состоянии, в каком находится несчастный влюблённый унтер-офицер Достоевский. И следуют опять просьбы похлопотать об устройстве Паши Исаева, единовременном пособии Марии Дмитриевне в 285 рублей серебром, каковые спасут её, ибо её брак с Вергуновым «потребует издержек, от которых они оба года два не поправятся! И вот опять для неё бедность, опять страдание...» Казалось бы, Достоевский полностью смирился уже с происшедшим и выплакал все слёзы. Но нет, как выражаются поэты-романтики, вулкан далеко ещё не утих, и под слоем пепла клокотала раскалённая лава чувств: «... в настоящее время почти ни на что не способен и так на всё тяжело смотрю! Если б хоть опять увидеть её, хоть час один! И хотя ничего бы из этого не вышло, но по крайней мере я бы видел её! <...> теперь, ей-Богу, хоть в воду! Хоть вино начать пить!..»

Как прожил Фёдор Михайлович следующие полтора месяца – остаётся только гадать-догадываться: письменных свидетельств не сохранилось. С уверенностью можно только сказать, что он с нетерпением, лихорадочно ждал-ждался офицерского чина. И вот в первых числах октября это произошло. Новоиспечённый прапорщик на крыльях любви устремляется спасать своё счастье, но, не имея официальной подорожной до Кузнецка, добирается только до городка Змиева. Однако ж, Мария Дмитриевна на условленную встречу, увы, не приехала. Впрочем, обратимся к очередному письму Достоевского в Петербург к Врангелю от 9 ноября 1856 года с подробным и эмоциональным отчётом о своих делах и состоянии своей души. «<...> Производство в офицеры если обрадовало меня, так именно потому, что, может быть, удастся поскорее увидеть её. <...> Люблю её до

безумия, более прежнего. Тоска моя о ней свела бы меня в гроб и *буквально* довела бы меня до самоубийства, если бы я не видел её <...> Я ни об чём более не думаю. Только бы видеть её, только бы слышать! Я несчастный сумасшедший! Любовь в таком виде есть болезнь <...> или топиться или удовлетворить себя. <...> О, не желайте мне оставить эту женщину и эту любовь. Она была свет моей жизни...»

Но вот, кажется, Бог обращает на страдальца своё благосклонное внимание. В конце ноября прапорщику Достоевскому удаётся на пять дней приехать в Кузнецк. Точки над і наконец расставлены: Фёдор Михайлович делает официальное предложение Марии Дмитриевне и – о счастье и радость! – она отвечает «да». Об этом он взахлёб сообщает в письмах Врангелю и брату Михаилу Михайловичу соответственно 21-го и 22-го декабря 1856 года. Причём письмо брату пишется, как видим, в годовщину инсценировки казни на Семёновском плацу, о чём бывший петрашевец в пылу радости и не вспоминает. Тогда, ровнёхонько 7 лет назад, в письме тому же Михаилу звучал подлинный гимн жизни и выражалась уверенность: «Теперь уж лишения мне нипочём, и потому не пугайся, что меня убьёт какая-нибудь материальная тягость. Этого быть не может...» Здесь Достоевский имел в виду, в первую очередь, физическую тягость, трудности каторжной и солдатской жизни. Но выражение «материальная тягость» вполне может быть отнесено и к безденежью, нищете. В письме к брату из Петропавловской крепости автор «Бедных людей» восклицал: «Да, если нельзя будет писать, я погибну!..», – имея в виду, что жизнь без творчества просто не имеет для него смысла. Через 7 лет в письме к Врангелю он воскликнет почти то же самое: «Да если печатать не позволят ещё год – я пропал. Тогда лучше не жить!..» Однако ж, теперь ему мало иметь право писать-творить, ему до зарезу необходимо и зарабатывать своим творчеством деньги – ради Марии Дмитриевны, ради

обеспечения их семейной жизни, дабы любимая, всё же отдавшая ему предпочтение перед соперником, вскоре горько об этом не пожалела бы.

Но опять самое примечательное в этом послании счастливого жениха, может быть, то, что в последних строках он вновь просит своего влиятельного столичного друга-товарища («прошу Вас на коленях») походатайствовать за Вергунова, устроить его в Томск на место с 1000 рублей жалования: «Теперь он мне дороже брата родного...»

Денег Достоевский назанимал-добыл и 6 февраля 1857 года в Одигитриевской церкви г. Кузнецка состоялось венчание его с Марией Дмитриевной Исаевой. Одним из двух «поручителей по женихе» (то есть, шафером-свидетелем) был учитель Кузнецкого училища... Вергунов (!). Свадьба вышла весьма пышная и многолюдная. Фёдор Михайлович был счастлив, весел и «очаровал» кузнецкое общество. Впрочем, если принять во внимание одну довольно грязную сплетню, то вполне вероятно, что под внешней весёлостью жениха клокотали обида, горечь и ревность. Любовь Фёдоровна Достоевская в книге «Достоевский в изображении своей дочери» уверенно пишет, что-де «накануне своей свадьбы Мария Дмитриевна провела ночь у своего возлюбленного, ничтожного домашнего учителя, то есть – Вергунова». Эта, увы, жизнеподобная сплетня, видимо, тотчас же стала известна Достоевскому по приезде его в Кузнецк. Впрочем, не исключено, что уже много позже Мария Дмитриевна в минуту злой ссоры с мужем уязвила-ранила его таким признанием. Впоследствии, в минуту горькой откровенности, в свою очередь Фёдор Михайлович поделился своим давешним горем с Анной Григорьевной, а та через много лет поведала об этой некрасивой истории с первой женой Достоевского (уж Бог весть из каких соображений!) своей повзрослевшей дочери...

Однако ж – это уже не суть важно. С началом семейной жизни период запредельных страстей и *самоубийственных* состояний-настроений, связанных с любовной лихорадкой, в жизни-судьбе Достоевского как бы заканчивается. Пик его первой любви пришёлся на период жениховства, и после свадьбы накал страстей пошёл на убыль. Началась обыденная семейная жизнь, полная хозяйственных бытовых хлопот, началось, если можно так выразиться, чрезмерное непрерывное общение двух обременённых болезнями и имеющих далеко не ангельские характеры людей. Причём, у Марии Дмитриевны совершенно не было, как впоследствии у Анны Григорьевны, преклонения перед талантом (уж не говоря о гении!) своего мужа. Позже, уже после смерти первой жены, Фёдор Михайлович в письме Врангелю (31 марта – 14 апреля 1865 года) вполне трезво подытоживает-оценивает и характеризует свою семейную жизнь так: «О, друг мой, она любила меня беспредельно, я любил её тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо. <...> несмотря на то, что мы были с ней положительно несчастны вместе (по её странному, мнительному и болезненно фантастическому характеру), – мы не могли перестать любить друг друга; даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу...»

Конечно, быт опального писателя после женитьбы значительно улучшился. По воспоминаниям дочери ротного командира Гейбовича, под началом которого служил прапорщик Достоевский, З. А. Сытиной, мы знаем, что он с женой занимал домик из четырёх комнат, и в нём было «мило, просто и уютно», имелся даже «куст волкомерии в деревянной кадочке». Достоевские принимали гостей, сами отдавали визиты. Одним словом, жили вполне обывательски, по-провинциальному покойно и размеренно. Можно было бы пофантазировать о том, какую сумятицу внёс в

жизнь молодожёнов учитель Вергунов, который в августе 1857-го неожиданно перебирается на службу в Семипалатинск. Возобновилась или нет связь-страсть между ним и Марией Дмитриевной – осталось неизвестным. Но даже если и так, Достоевского это, скорей всего, уже никак не могло подтолкнуть к мыслям о самоубийстве. Больше того, уже сам Фёдор Михайлович, вероятно, давал-преподносил своей супруге поводы для ревности. Существовала-жила в Семипалатинске какая-то таинственная Марина О., совсем молоденькая девушка, которой прапорщик-писатель давал уроки. По словам Врангеля, когда Достоевский в октябре 1865 года гостил у него в Копенгагене, они много говорили-вспоминали о Сибири, в том числе – «и о покойнице Марии Дмитриевне, и о красавице Марине О., которую так ревновала к нему (Достоевскому. – Н. Н.) его жена».

Вероятно, можно согласиться с большим спецом в любовно-сексуальных вопросах Марком Слонимом (автором книги «Три любви Достоевского») в том, что о физической гармонии между супругами в семье Достоевских оставалось только мечтать, и постепенно Фёдор Михайлович начал относиться к Марии Дмитриевне как к сестре, как к больному близкому человеку, требующему не мужской страсти, а обыкновенной человеческой ласки, заботы, бережного ухода.

Она умерла 15 апреля 1864 года. Ночью, находясь в комнате наедине с ещё не остывшим телом, Достоевский заносит в записную тетрадь свои размышления («Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?...»), которые сложились в своеобразный философский трактат о жизни и смерти, смерти и бессмертии, предназначении человека на земле. В этой записи и сконцентрированы-обозначены философские концепции Достоевского-писателя, Достоевского-мыслителя, которые он будет разрабатывать, углублять, исследовать во всех последующих своих великих романах.

Остаётся добавить, что штрихи внешности, характера и судьбы Марии Дмитриевны отразились, в какой-то мере, в образах Наташи Ихменевой («Униженные и оскорблённые»), Катерины Ивановны Мармеладовой («Преступление и наказание») и Катерины Ивановны Верховцевой («Братья Карамазовы»).

Аполлиария

Встреча с Аполлиарией Прокофьевной Суловой стала для Фёдора Михайловича и счастьем, и погибелью. Это была, что называется, роковая любовь. До предельного отчаяния доходил порой Достоевский в «годы близости» с этой inferнальной женщиной. При своей внешней ангельской красоте Аполлиария обладала таким далеко не ангельским характером, что могла довести до самоубийства человека и с более уравновешенным характером, чем у Достоевского. Да и сама она была склонна к суициду и даже пыталась с собой покончить. Исследователи творчества Достоевского не без основания полагают, что, вспоминая именно Аполлиарию Сулову, писатель создавал образы таких своих героинь, мягко говоря – со своеобразными характерами, как Настасья Филипповна («Идиот»), Лиза («Бесы»), Катерина Ивановна («Братья Карамазовы»), ну и, конечно, в первую и главную очередь – Полина в «Игроке».

Роман их начался вполне логично. Молодая вольнослушательница Петербургского университета (ей чуть больше 20-ти) и начинающая писательница знакомится с сорокалетним Достоевским во время одного из литературных вечеров в самом начале 1861 года, предлагает в журнал «Время» свою повесть «Покуда», которая вскоре благополучно и появляется-печатается на его страницах. Естествен-

но, знакомство юной красивой и эмансипированной авторши с фактическим редактором журнала перерастает в более серьёзное и взаимное чувство. Ни разница в возрасте почти в двадцать лет, ни наличие хотя уже и не страстно любимой и к тому же серьёзно больной, но всё же законной жены-супруги, ни хроническое безденежье-нищета (обстоятельство, отнюдь не красящее мужчину-ухажёра), – ничто не остановило, не удержало Фёдора Михайловича от сладостного, но опрометчивого сближения с Аполлинарией Прокофьевной. В свою очередь, ни разница в возрасте, ни семейно-брачная несвобода избранника, ни его безденежье, ни даже собственная девическая невинность (в те времена ещё чрезвычайно немаловажный фактор!) также не остановили молодую девушку от притягательного, но опрометчивого шага. *Они сошлись – коса и камень...*

Начальный, петербургский, период их отношений хотя и был окрашен, как это всегда и бывает, ярким пламенем вдруг вспыхнувшей страсти, но несколько омрачался тем, что приходилось таиться-скрывать, осторожничать, сдерживать проявления своих чувств. По-настоящему любовь их должна была разгореться в совместном путешествии по заграницам – подальше от дома, от Марии Дмитриевны, от журнальных обременительных забот, от досаждающих кредиторов, которые, конечно же, не способствовали поддержанию приподнятого настроения, столь необходимого в страстной безрассудной любви.

Достоевский возлагал очень большие надежды на эту любовь. Она возродила его мечты на подлинные, настоящие и животворные отношения с женщиной, которые только и смогут сделать жизнь мужчины по-настоящему полноценной и счастливой. В наши планы не входит разбор нравственных аспектов данного вопроса (уж применим-используем сухой научный оборот!), нам важно просле-

дить-выяснить, как был наказан Судьбою за свою безумную страсть писатель-реалист, потерявший голову и забывший напрочь о жёстком и жестоком реализме действительной жизни. Небеса, конечно же, никак не могли одобрить-благословить эту связь, эту преступную с точки зрения морали и строгих моралистов любовь-страсть.

Итак, Аполлинария первой, не дождавшись Достоевского (катастрофа с закрытием «Времени» задержала его), выезжает за границу и ждёт-дожидается Фёдора Михайловича в Париже. Заметим, к слову, что крушение журнала уже можно рассматривать как наказание свыше за безрассудную и преступную связь. Но истомившийся до предела любовник, вырвавшийся наконец из России, и не подозревает, что произошло-свершилось уже и катастрофическое крушение его любви и что в Париже ему предстоит упасть в бездну отчаяния. Для реализма исследования следует упомянуть, что не только предмет любви влёт Достоевского за границу. Конечно, любимая, желанная и также сгорающая (как ему ещё грезилось) от взаимной страсти женщина, это, разумеется, – во-первых. Во-вторых, он снова, увидит-посмотрит Европу, свои любимые уже места и шедевры мировой живописи. Ну а в-третьих, наконец-то суждено ему и в полной мере вкусить пьянящую, колдовскую, сладкую отраву рулеточной игры, сорвать в единый миг громадный куш и выскочить в конце концов из нищеты-бедности раз и навсегда, о чём он тоже давно уже в мечтах грезил...

«Во-вторых» удалось-получилось вполне: писатель вновь, как и за год до того, успел за короткий срок побывать в Германии, Франции, Швейцарии, Италии. Что касается «в-третьих», то и это поначалу удалось-свершилось словно бы по волшебству: в первую же игру в Висбадене Достоевский выигрывает громадную для него сумму – 10 000 франков. Это примерно около 2500 рублей, и если учесть, что

Фёдор Михайлович выехал из Петербурга с теми жалкими остатками от 1500 рублей, выданных ему в долг Литфондом, что сохранились после расчёта с кредиторами и оставления некоторых сумм на расходы жене, пасынку и вдове брата, то можно представить, каким Крёзом почувствовал-ощутил он себя и в какой эйфории пребывал-находился после баснословного выигрыша. Правда, уже вскоре он проиграл пять тысяч франков. Фёдору Михайловичу удалось каким-то чудом прервать опьянение игрой, скрутить себя и уехать из Висбадена с этой половиной выигрыша прочь и подальше. Отослав часть денег страждущим родственникам в Петербург, он устремляется, наконец, в Париж, где его уже дожидается ужасный провал-катаклизм с его мечтательным пунктом «во-первых».

Вот здесь-то и проявился ещё раз наглядно «закон спирали» в судьбе Достоевского: как и в случае с Марией Дмитриевной за несколько лет до того, всё повторилось вплоть до деталей: вновь стоило Фёдору Михайловичу отпустить от себя любимую, как на пути её встречается молодой и совершенно ничтожный красавчик, и возлюбленная Достоевского теряет голову, предаёт их жаркую любовь и вообще собирается связать свою жизнь-судьбу с новым любовником.

Исследователям-биографам Достоевского повезло, что в данной истории любви оба главных героя – литераторы. И Аполлиария Сулова создала-сочинила на этом материале свою уже давно забытую читателями повесть «Чужая и свой», и Фёдор Михайлович написал свой известный роман «Игрок», а кроме того многие страницы дневника Суловой посвящены её взаимоотношениям с Достоевским, и нередко в письмах писателя тех лет упоминается имя Аполлиарии.

Хотя бы пунктирно вспомним-восстановим фабулу этой любовной драмы. Сулова встречает в Париже некое-

го молодого студента-испанца Сальвадора, влюбляется, отдаётся ему и пытается предупредить-остановить Достоевского от приезда письмом-признанием: «Ты едешь немного поздно...» Фёдор Михайлович не успел получить ошеломительное письмо-известие и вынужден был пережить-вынести потрясение в непосредственном разговоре-объяснении с любимой. Вот как по горячим следам изобразила мелодраматично эту доподлинно драматическую сцену сама Аполлинария в своём дневнике. Она сообщила ему, что уже *поздно*:

«Он опустил голову.

– Я должен всё знать, пойдём куда-нибудь и скажи мне, или я умру...

<...> Когда мы вошли в его комнату, он упал к моим ногам и, сжимая, обняв с рыданием мои колени, громко зарыдал: «Я потерял тебя, я это знал!..»

Простим третьестепенной писательнице Сусловой это «с рыданием... зарыдал», но предельное отчаяние Фёдора Михайловича она передать сумела. И дальше в дневнике – поразительная подробность, совершенно точно и знаменательно характеризующая автора «Белых ночей», «Униженных и оскорблённых» и повторяющая-копирующая, опять же, его сибирский период жениховства. Он выпытывает у Сусловой, кто же такой его счастливый соперник и, узнав подробности, ощущает «гадкое», но даже в чём-то и утешительное чувство: «...ему стало легче, что это не серьёзный человек, не Лермонтов». Надо полагать, пошли Судьба соперниками Достоевскому не ничтожных вергуновых-сальвадоров, а Лермонтова или, допустим, Льва Толстого, то Фёдор Михайлович вряд ли пережил бы тогда победу *такого* соперника...

Пока же он, совершенно в духе и стиле своих героев, уговаривает Аполлинарию не порывать до конца отноше-

ний с ним, Достоевским, он согласен оставаться-быть всего лишь другом, братом – кем угодно, лишь бы находиться рядом, сохранять хоть какие-то надежды на возвращение её любви и совершить вместе, как они и мечтали, путешествие по Европе. И, как ни поразительно, именно так всё и случилось-произошло: они действительно путешествовали вместе (испанец, как говорится, добившись своего, вскоре Суслову бросил), останавливались в гостиницах в одном номере, правда, двухкомнатном, но всё время находились вдвоём, наедине, и отношения между ними установились совершенно фантазмагорические. Вот ещё характерные фрагменты дневника Аполлинарии:

«... Часов в десять (вечера) мы пили чай. Кончив его, я, так как в этот день устала, легла на постель и попросила Фёдора Михайловича сесть ко мне ближе. Мне было хорошо. Я взяла его руку и долго держала в своей. Он сказал, что ему так очень хорошо сидеть. <...> Вдруг он внезапно встал, хотел идти, но запнулся за башмаки, лежавшие подле кровати, и так же поспешно воротился и сел.

– <...> Ты не знаешь, что сейчас со мной было! – сказал он с странным выражением.

– Что такое? – Я посмотрела на его лицо, оно было очень взволнованно.

– Я сейчас хотел поцеловать твою ногу.

– Ах, зачем это? – сказала я в сильном смущении, почти испуге и подобрав ноги.

– Так мне захотелось, и я решил, что поцелую.

Потом он меня спрашивал, хочу ли я спать, но я сказала, что нет, хочется посидеть с ним.

<...> Потом он целовал меня очень горячо...

<...> Сегодня он напомнил о вчерашнем дне и сказал, что был пьян.

<...> Вчера Фёдор Михайлович опять ко мне приста-

вал. Он говорил, что я слишком серьёзно и строго смотрю на вещи, которые того не стоят...

<...> У него была мысль, что это каприз, желание помучить.

– Ты знаешь, – говорил он, – что мужчину нельзя так долго мучить, он, наконец, бросит добиваться...

<...> Я с жаром обвила его шею руками и сказала, что он для меня много сделал, что мне очень приятно.

– Нет, – сказал он печально, – ты едешь в Испанию.

Мне как-то страшно и больно -- сладко от намёков о Сальвадоре. <...> Какая бездна противоречий в отношениях его ко мне!

Фёдор Михайлович опять всё обратил в шутку и, уходя от меня, сказал, что ему унизительно так меня оставлять (это было в 1 час ночи. Я раздетая лежала в постели). «Ибо россияне никогда не отступали...»

Только представить себе: Аполлинару мечтает-грезит о Сальвадоре, но не в силах пока расстаться и с Достоевским; он же сгорает от страсти к ней, жаждет добиться прежней близости, предлагает постоянно-настойчиво руку и сердце (ещё при живой-то жене!), однако ж, она жестоко кокетничает-играет с ним, поддерживая пламя его страсти, но почти не допуская к себе, и, по горькой догадке-утверждению Фёдора Михайловича, не может ему простить, что отдала ему свою невинность и теперь мстит. Но она, в свою очередь, вероятно, искренне была убеждена, что это он её заставлял и заставляет страдать и признаётся уже позже (запись от 24 сентября 1864 года), что порою просто ненавидела его за эти причиняемые ей страдания...

Во многом убедительные акценты во взаимоотношениях писателя с Аполлинурией расставил ещё А. С. Долинин в 1928 году во вступительной статье к книге А. П. Суловой «Годы близости с Достоевским». Так, нельзя не согласиться

с известным Достоевсковедом, к примеру, в том, что глубинные психологические мотивы их любви-ненависти можно обнаружить в «Записках из подполья», в «Идиоте» (Настасья Филипповна – Тоцкий) и даже в «Исповеди Ставрогинна». Сулова объясняла в дневнике причину вспышек своей ненависти к Достоевскому, в частности, и тем, что он «первый убил в ней веру». Он, со своей стороны, понимал это, чувствовал-осознавал вину свою: недаром идея «Записок из подполья» вытеснила на время идею-замысел «Игрока», который был задуман раньше. Нет, сначала как бы покаяние, исповедь, потом – описание, сам роман. Да, такова натура, такова двойственность! Искренне, совершенно искренне собирается-мечтает быть только *братом, спасителем, утешителем*, а в результате опять побеждает двойник, сладострастное второе «я».

Сама Аполлинурия, прочитав ещё только первую часть «Записок из подполья» и не догадываясь о непосредственных переключках сюжета-содержания повести с их историей любви, упрекала в письме автора: «Что ты за скандальную повесть пишешь? <...> Мне не нравится, когда ты пишешь цинические вещи. Это тебе как-то не идёт...» Надо думать, вторую часть «Записок из подполья» Сулова читала не так *брюзжливо* и более заинтересованно. Она не могла не разглядеть, не вспомнить в мучительных сценах повествования Достоевского отблески мучительных сцен их совместного житья-сосуществования в гостиницах Парижа и Италии...

А они и тогда, и ещё некоторое время потом друг друга мучили, мучили и мучили. Без меры и бесконечно.

Позже в письме к сестре Аполлинурии, Надежде Прокофьевне, уже слегка остыв, Достоевский всё равно сверхэмоционально описывает-оценивает свою возлюбленную и свои взаимоотношения с нею, не в состоянии

скрыть-затушевать свою яростную обиду: «Аполлиария – больная эгоистка. Эгоизм и самолюбие в ней колоссальны. Она требует от людей *всего*, всех совершенств, не прощает ни единого несовершенства в уважение других хороших черт, сама же избавляет себя от самых малейших обязанностей к людям. Она колет меня до сих пор тем, что я не достоин был любви её, жалуется и упрекает меня беспрерывно, сама же встречает меня в 63-м году в Париже фразой: “Ты немножко опоздал приехать”, то есть что она любила другого, тогда как две недели тому назад ещё горячо писала, что любит меня. Не за любовь к другому я корю её, а за эти четыре строки, которые она прислала мне в гостиницу с грубой фразой: “Ты немножко опоздал приехать”. (В обиде-гневе у профессионального писателя проскакивает не совсем точное словцо-определение: фраза, так ранившая его сердце и запавшая в память, не «грубая», она – издевательская, почти ёрническая, уничижительно-насмешливая по смыслу и лексической окраске! – Н. Н.)

<...> Я люблю её ещё до сих пор, очень люблю, но я уже *не хотел* бы любить её. Она не *стоит* такой любви. Мне жаль её, потому что, предвижу, она вечно будет несчастна...»

И чуть дальше в этом письме прорывается настоящий вскрик-стон доведённого уже до полного отчаяния человека: «...Ведь она знает, что я люблю её до сих пор. Зачем же она меня мучает? Не люби, но и не мучай...»

Их трагедия усугублялась ещё и тем, что оба они одновременно выступали и в роли волка, пожирающего овцу, и в роли овцы, пожираемой волком. Если в Подпольном человеке, Тоцком и даже Ставрогине в этом плане есть толика самого Достоевского, то Аполлиарию Суслову писатель, несомненно, в большей или меньшей степени помнил-вспоминал (кроме упоминаемых уже Настасьи Филипповны,

Лизы и Катерины Ивановны) при создании и таких героинь-мучительниц, как Авдотья Романовна Раскольниковова («Преступление и наказание»), Аглая Епанчина («Идиот»), Ахмакова («Подросток»), Грушенька («Братья Карамазовы»), но в первую очередь, повторимся, – Полина из «Игрока».

О степени отчаяния Достоевского («Не люби, но и не мучай...») можно составить представление, вчитываясь именно в текст этого романа. И для начала, как это ни парадоксально, следует обратить внимание не на главного героя, Алексея Ивановича, – безусловного alter ego автора, а на генерала, вернее, на одно существенное замечание по его адресу. Вот оно: «...генерал так влюбился, что, пожалуй, застрелится, если mademoiselle Blanche его бросит. В его лета так влюбляться опасно...»

Достоевскому в «годы близости» с Суловой было уже за сорок, он был старше её почти вдвое и, конечно же, в этом плане как бы является прототипом генерала, а не Алексея Ивановича, которому всего лишь чуть больше двадцати. Именно в лета Фёдора Михайловича так влюбляться было опасно, это ему в пору было застрелиться, когда он узнал от юной Аполлинии о своей унижительной отставке. И здесь есть ещё один чрезвычайно существенный нюанс, который весьма многозначителен. Дело в том, что замечание-реплика по поводу гипотетического самоубийства генерала от несчастной любви принадлежит Алексею Ивановичу, и произносит-роняет он его в разговоре с Полиной. И как же реагирует она? Полина задумчиво соглашается: «– Мне самой кажется, что с ним что-нибудь будет...» Вот так доброе женское сердечко!

Отношения Достоевского с Суловой продолжались и позже, вплоть до 1867 г., но уже практически только на эпистолярном уровне, однако ж и это доставляло мину-

ты ревности уже второй жене писателя Анне Григорьевне. В последнем своём письме к Аполлинару (23 апр. /5 мая/ 1867 г.) Достоевский попрощался с ней так: «До свидания, друг вечный!..»

Предвидение-пророчество Фёдора Михайловича в письме к её сестре о том, что Аполлинурия «вечно будет несчастна» – оправдалось полностью и на все сто. В любви она терпела одни катастрофы, с родными и близкими ужиться не могла. Вышла замуж только в 40 лет (в 1880 г., ещё при жизни Достоевского) за писателя и философа В. В. Розанова, которому было 24, и который женился на ней во многом из-за благоговейного отношения к Достоевскому; через 6 лет они расстались, но «Суслиха» (выражение Розанова) целых 20 лет не давала развода мужу, который создал другую семью.

В общественной жизни, как ни пыталась, тоже никак не сумела определиться, найти своё место, хотя играла роль эмансипированной женщины и нигилистки. Она всё время жила как в горячке, отвергая действительное, вечно недовольная, неудовлетворённая, страдающая и мучающая, заставляющая страдать других людей. И в литературном творчестве она искала какой-то выход, способ-возможность утвердиться в этом мире, объяснить-понять его и себя в нём. Из её дневников и беллетристических опытов и можно понять, как часто эта красивая, гордая, незаурядная, но и страшно несчастная женщина находилась на краю самоубийства. И особенно важно подчеркнуть, что Достоевский был в курсе её суицидальных мечтаний-намерений.

Именно в те парижские дни, когда Достоевский узнаёт, что «немножечко опоздал приехать», когда он сам находится на грани отчаяния, а Аполлинурия, словно зло пародируя соответствующие сцены из «Униженных и оскорблённых», продолжает встречаться с Сальвадором и

посвящает Фёдора Михайловича во все подробности своих взаимоотношений с испанцем, она и решает покончить жизнь самоубийством. В дневнике она подробничает, как сожгла перед этим некоторые свои тетради и компрометирующие письма (вот когда, вероятно, погибло и несколько бесценных писем влюблённого писателя!), как провела ночь в мыслях о самоубийстве, как пришла утром к Фёдору Михайловичу плакаться в жилетку, как он её успокоил и на время примирил с гнусной жизнью и подлостью Сальвадора...

О том, что и запутанные, мучительные отношения с Достоевским тоже чуть не довели эту роковую женщину до суицида, мы можем в какой-то мере судить по сюжету документально-мемуарной повести Сусловой «Чужая и свой»: в конце героиня её, Анна Павловна – alter ego Аполлинаруи Прокофьевны, бросается в реку...

Даже удивительно, что эта женщина дожила до преклонного возраста (почти до 80-ти!) и умерла в 1918 году собственной смертью, к слову, в один год с Анной Григорьевной Достоевской и совсем недалеко от неё, тоже в Крыму. Ещё в 1865 году, в период агонии взаимоотношений с автором «Униженных и оскорблённых», Сулова формулирует в дневнике: «Покинет ли меня когда-нибудь гордость? Нет, не может быть, лучше умереть. Лучше умереть с тоски, но свободной, независимой от внешних вещей <...> я нахожу жизнь так грубой и так печальной, что я с трудом её выношу. Боже мой, неужели всегда будет так! И стоило ли родиться!...»

Анна

Встреча с Анной Григорьевной Сниткиной была в полном смысле слова для Достоевского судьбоносной...

Как известно, он весьма недобро и даже злобно отзывался до конца дней своих о Ф. Т. Стелловском. Писатель

считал, что этот издатель-спекулянт ограбил его и судился с ним как с заклятым врагом. И это доказывает, что Достоевский, как и многие гениальные люди, в обыденной жизни, в обстоятельствах и следствиях собственной судьбы не всегда верно расставлял акценты, был наивен, мог весьма бездарно ошибаться в оценке событий. По сути, ему, Фёдору Михайловичу, надо было бы до конца дней господина Стелловского (он умер в 1875-м) числить его в ближайших друзьях-приятелях, благодетельствовать ему и осыпать подарками, после кончины же – вспоминать-поминать только добрым словом. Давайте попробуем посмотреть на их сделку-контракт 1865 года не глазами Достоевского, а – беспристрастно, как бы со стороны. Получится у нас следующее:

а) Стелловский решился издать и издал четырёхтомное собрание сочинений писателя, известность которого в то время была далеко ещё не такой, какой стала она после «Преступления и наказания», чем способствовал, без сомнения, росту его популярности. Достоевскому не случайно не удалось найти иной выход из денежного тупика – кто бы из тогдашних издателей, кроме Стелловского, рискнул заключить контракт с относительно молодым ещё автором и выплатить ему деньги вперёд?..

б) Во многом благодаря этому, казалось бы, кабальному контракту и появилось на свет одно из самых цельных и безусловно талантливых произведений, приоткрывшее читателям и исследователям внутренний мир Достоевского, – роман «Игрок».

в) Именно благодаря деньгам «спекулянта» Стелловского писатель смог вырваться за границу, по сути – на последнее горестно-сладостное свидание с Аполлинарией...

г) И, наконец, – самое главное: только благодаря Стелловскому Фёдор Михайлович встретился с Анной Григорьевной! И это бесспорно и однозначно для любого чело-

века, верующего или не верующего в предопределение человеческой судьбы свыше и влияние случая на жизнь каждого из нас.

Анна Сниткина была послана-подарена Достоевскому судьбою (при посредничестве Стелловского) за все его прежние и ещё грядущие горести, лишения, испытания, болезни и страдания. Благодаря ей, свои последние и самые плодотворные четырнадцать лет жизни Достоевский прожил по-человечески счастливо – любовь, ласка, внимание, забота, терпение и понимание со стороны юной супруги компенсировали вечному страдальцу и больному гению все тяготы бытия. Даже можно сказать, что Анна Григорьевна продлила дни Фёдора Михайловича. Если есть-существует такое понятие – *идеальная писательская жена*, то первой и, вероятно, единственной кандидаткой на это звание была и остаётся на все времена (по крайней мере, в русской литературе) именно Анна Григорьевна Достоевская. Недавно Л. Н. Толстой сказал однажды не без оттенка зависти: «Многие русские писатели чувствовали бы себя лучше, если бы у них были такие жёны, как у Достоевского...»

Вернёмся, однако ж, от лирики к исследовательским заботам. Подробности объяснения в любви и предложения руки и сердца 20-летней *стенографке* Анне Григорьевне Сниткиной со стороны автора «Игрока» хорошо известны из её «Воспоминаний». Воссоздадим здесь вкратце, как это случилось.

30 октября 1866 года, между прочим, – в самый день рождения Достоевского (а исполнилось ему ровно сорок пять), Анна Григорьевна принесла-преподнесла писателю лучший из подарков – последнюю переписанную стенограмму законченного романа. С одной стороны, безмерная радость автора (обязательства перед Стелловским выполнены!), с другой – грусть и тоска на сердце (милая *стено-*

графка исчезнет навсегда из его жизни!). Однако ж, они уговариваются работать совместно и дальше – теперь уже над продолжением «Преступления и наказания». И вот наступает в жизни обоих судьбоносный день – 8 ноября 1866 года. Достоевский рассказывает Анне Григорьевне сюжет как бы задуманного им нового романа и якобы никак ему не обойтись без консультации Анны Григорьевны по части девичьей психологии. Впоследствии «консультантка» будет вспоминать:

«Я с гордостью приготовилась «помогать» талантливому писателю.

– Кто же герой вашего романа?

– Художник, человек уже не молодой, ну, одним словом, моих лет...

<...> художник встречается на своем пути молодую девушку ваших лет или на год-два постарше. Назовем её Аней...

<...> Художник <...> чем чаще её видел, тем более она ему нравилась, тем сильнее крепло в нём убеждение, что с нею он мог бы найти счастье. И, однако, мечта эта представлялась ему почти невозможной. <...> Не была ли бы любовь к художнику страшной жертвой со стороны этой юной девушки и не стала ли бы она потом горько раскаиваться, что связала с ним свою судьбу? Да и вообще, возможно ли, чтобы молодая девушка, столь различная по характеру и по летам, могла полюбить моего художника? <...>

– Почему же невозможно? Ведь если, как вы говорите, ваша Аня не пустая кокетка, а обладает хорошим, отзывчивым сердцем, почему бы ей не полюбить вашего художника? <...> Если она его любит, то и сама будет счастлива, и раскаиваться ей никогда не придётся!

Я говорила горячо. Фёдор Михайлович смотрел на меня с волнением.

– И вы серьёзно верите, что она могла бы полюбить его искренно и на всю жизнь?

Он помолчал, как бы колеблясь.

– Поставьте себя на минуту на её место, – сказал он дрожащим голосом. – Представьте, что этот художник – я, что я признался вам в любви и просил быть моей женой. Скажите, что вы бы мне ответили?

Лицо Фёдора Михайловича выражало такое смущение, такую сердечную муку, что я наконец поняла, что это не просто литературный разговор и что я нанесу страшный удар его самолюбию и гордости, если дам уклончивый ответ. Я взглянула на столь дорогое мне, взволнованное лицо Фёдора Михайловича и сказала:

– Я бы вам ответила, что вас люблю и буду любить всю жизнь!

Я не стану передавать те нежные, полные любви слова, которые говорил мне в те незабвенные минуты Фёдор Михайлович: они для меня священны...»

А вот как ту же сцену описывает-воссоздаёт писатель в художественном произведении – слегка уменьшив возраст обоих героев: Сергею Михайловичу – 36 лет, Маше – 17. Сцена даётся опять же через восприятие героини, её глазами. Итак:

« – Представьте себе, что был один господин, А положим, – сказал он, – старый и отживший, и одна госпожа Б, молодая, счастливая, не выдавшая ещё ни людей, ни жизни. <...> он полюбил её как дочь, и не боялся полюбить иначе.

Он замолчал, но я не прерывала его.

– Но он забыл, что Б так молода, что жизнь для неё ещё игрушка, – продолжал он вдруг скоро и решительно и не глядя на меня, – и что её можно полюбить иначе, и что ей это весело будет...

– Отчего же он боялся полюбить иначе? – чуть слыш-

но сказала я, сдерживая своё волнение...

– Вы молоды, – сказал он, – я не молод. Вам играть хочется, а мне другого нужно <...>. И не будем больше говорить об этом. Пожалуйста!

– Нет! нет! будем говорить! – сказала я, и слёзы задрожали у меня в голосе. – Он любил её или нет?

Он не отвечал.

– А ежели не любил, так зачем он играл с ней, как с ребёнком? – проговорила я.

– Да, да, А виноват был, – отвечал он, торопливо перебивая меня, – но всё было кончено и они расстались... друзьями.

– Но это ужасно! и разве нет другого конца, – едва проговорила я и испугалась того, что сказала.

– Да, есть, – сказал он, открывая взволнованное лицо и глядя прямо на меня. – Есть два различных конца. <...> Одни говорят <...>, что А сошёл с ума, безумно полюбил Б и сказал ей это... А она только смеялась... <...> другие говорят, будто она сжалилась над ним, вообразила себе, бедняжка, не выдавшая людей, что она точно может любить его, и согласилась быть его женой. И он, сумасшедший, поверил. Поверил, что вся жизнь его начнётся снова, но она сама увидела, что обманула его, и что он обманул её...»

Эта эмоциональная сцена-диалог заканчивается, в конце концов, тем, что героиня, со своей стороны, признаётся-открывается в своей любви к «А», и её младшая сестрёнка Соня, которая подслушивала у двери, бежит оповестить всех домашних, что «Маша хочет жениться на Сергее Михайловиче...»

Из какого же это произведения?..

Впрочем, пора признаться, да и, думается, вряд ли кого ввела в заблуждение эта невинная мистификация – не тот стиль, не тот слог: да, это сцена-отрывок из ранней по-

вести Л. Н. Толстого «Семейное счастье». Но какая поразительная переключка! Это произведение (которым, к слову, автор был крайне неудовлетворён) было опубликовано ещё в апреле 1859 года в «Русском вестнике» – как раз в то время, когда Достоевский, возвращаясь в литературу и вернувшись в Россию, жадно вчитывался в страницы свежих журналов и особенно в произведения Л. Толстого, который чрезвычайно заинтересовал его ещё в Сибири своими первыми повестями о детстве и отрочестве.

Как известно, у Достоевского почти нет ни одного слова без оглядки на чужое слово: полемика, пародия, парафраза, реминисценция, аллюзия, скрытая и прямая цитата – вот кровеносная система его творчества. В данном случае Достоевский как бы использовал, скрыто процитировал-воспроизвёл и даже в чём-то спародировал в личной реальной жизни сцену из литературного произведения другого писателя. Примечательно, что однажды, когда у супругов Достоевских в задушевной беседе всплыли воспоминания о начале их любви-сближения и незабываемой сцене объяснения-предложения в виде иносказательного романного сюжета, Достоевский, напрочь забыв и о Л. Толстом, и о своём вольном или невольном *плагиате*, похвастался юной супруге: «А впрочем, я вижу, что рассказанный мною тогда роман был лучший из всех, когда-либо мною написанных...»

Но ещё более примечательно то, что заглавие повести Л. Толстого звучит-воспринимается, по ходу чтения произведения, зеркально и саркастически горько: никакого семейного счастья у Маши с Сергеем Михайловичем не получается – одни страдания, терзания, упрёки, вражда амбиций и непонимание друг друга. Совсем не то в жизненно-реальном романе Достоевских под названием – «Семейное счастье».

Свидетельствует ОН:

«Тебя бесконечно любящий и в тебя бесконечно верующий <...> Ты моё будущее всё – и надежда, и вера, и счастье, и блаженство, – всё...» (9 декабря 1866 г. – Он ещё жених.)

«...думаю о тебе поминутно. Анька, я тоскую о тебе мучительно! Днём перебираю в уме все твои хорошие качества и люблю тебя ужасно <...> Голубчик, я ни одной женщины не знаю равной тебе. <...> вечером и ложась спать (это между нами) думаю о тебе уже с мученьем, обнимаю тебя мысленно и целую в воображении *всю* (понимаешь?). Да, Аня, к тоске моего уединения не доставало только этого мученья; должен жить без тебя и мучиться. Ты мне снишься обольстительно; видишь ли меня-то во сне? Аня, это очень серьёзно в моём положении, если б это была шутка, я б тебе не писал. Ты [боясь] говорила, что я, пожалуй, пушусь за другими женщинами здесь за границей. Друг мой, я на опыте теперь изведаль, что и вообразить не могу другой, кроме тебя. Не надо мне совсем других, мне тебя надо, вот что я говорю себе каждодневно...<...> Я тебя истинно люблю и молюсь за вас всех каждый день горячо...» (16 /28/ июня 1874 г. Эмс. – 8,5 лет семейной жизни.)

«Милый ангел мой, Аня: становлюсь на колени, молюсь тебе и целую твои ноги. Влюблённый в тебя муж твой! Друг ты мой, целые 10 лет я был в тебя влюблён и всё *crescendo* и хоть и ссорился с тобой иногда, а всё любил до смерти. Теперь всё думаю, как тебя увижу и обниму...» (15–16 июля 1877 г. – Без комментариев.)

«Ангел мой, пишешь мне милую приписочку, что часто снюсь тебе во сне и т. д. А я об тебе мечтаю больше наяву. Сижу пью кофей или чай и только о тебе и думаю, но не в одном этом, а и во всех смыслах. И вот я убедился, Аня, что я не только люблю тебя, но и влюблён в тебя и что ты единая моя госпожа, и это после 12-ти лет! Да и в самом

земном смысле говоря, это тоже так, несмотря на то, что ведь, уж конечно, ты изменилась и постарела с тех пор, когда я тебя узнал ещё девятнадцати лет. Но теперь, веришь ли, ты мне нравишься и в этом смысле несравненно более, чем тогда. Это бы невероятно, но это так. Правда, тебе ещё только 32 года, и это самый цвет женщины <5 строк нрзб.> это уже непобедимо привлекает такого, как я. Была бы вполне откровенна – была б совершенство. Целую тебя поминутно в мечтах моих всю, поминутно взасос. Особенно люблю то, про что сказано: “И предметом сим прелестным восхищён и упоён он”. – Этот предмет целую поминутно во всех видах и намерен целовать всю жизнь. Анечка, голубчик, я никогда, ни при каких даже обстоятельствах, в этом смысле не могу отстать от тебя, от моей восхитительной баловницы, ибо тут не одно лишь это баловство, а и та готовность, та прелесть и та интимность откровенности, с которою это баловство от тебя получаю. До свидания, договорился до чёртиков, обнимаю и целую тебя взасос...» (4 /16/ августа 1879 г. Эмс. – Без комментариев.)

«Крепко обнимаю тебя, моя Анька. Крепко целую тебя <...>. Ты пишешь, что видишь сны, а что я тебя не люблю. А я всё вижу прескверные сны, кошмары, каждую ночь о том, что ты мне изменяешь с другими. Ей-богу. Страшно мучаюсь. Целую тебя тысячу раз...» (3–4 июня 1880 г. Москва. – Одно из самых последних посланий Достоевского к жене.)

Письма Достоевского к жене (а их сохранилось более 160!) с пылкими, донельзя чувственными, порой откровенно-интимными признаниями-излияниями можно цитировать страницами. Причём, надо ещё помнить, что часть писем не сохранилась, а в дошедших до нас Анна Григорьевна самолично, готовя их к изданию, густо зачеркнула или стёрла резинкой самые, по её мнению, откровенно-интим-

ные строки-фрагменты. Таких *цензурных* купюр, к сожалению для нас, в семейном эпистолярии Достоевского немало. В этом сожалении нет ничего предосудительного, ибо сам Достоевский, успокаивая осторожную Анну Григорьевну, собственноручно как бы выписал тогдашним любопытствующим перлюстраторам и будущим дотошным исследователям-биографам индульгенцию от себя (16 /28/ августа 1879 г.): «Пишешь: А ну если кто читает наши письма? Конечно, но ведь и пусть; пусть завидуют...»

В контексте данной темы (любовь Достоевского к жене) содержится один совершенно, казалось бы, необъяснимый парадокс: безгранично любя Анечку, Аньку, Аню, Анну, Анну Григорьевну – жену, любовницу, мать своих детей, самого близкого и конфиденциального друга-товарища, незаменимого помощника в работе, Достоевский ни разу, ни в едином произведении не вывел её образ, не выплеснул свои чувства к ней на страницах своих поздних романов. Более того, он, диктуя супруге-стенографистке новые произведения, с её помощью вновь и вновь воссоздавал-высвечивал в образах отдельных своих героинь облик и характер незабываемой Аполлинаруии... Здесь может быть только одно объяснение: Фёдор Михайлович с помощью своего главного орудия-лекарства – творчества пытался избавиться от мучительной и совершенно уже излишней, ненужной, мешающей жить любви-страсти к Сусловой. Любовь же супружеская, к Анне Григорьевне, настолько была жива, полнокровна, взаимна и счастлива, что не было никакой необходимости и охоты вытеснять-изливать её из собственной души, делиться ею с кем бы то ни было. Достоевскому вполне хватало для полного выражения, так сказать, восторга своих чувств глубоко личных писем к жене. Надо ли говорить, как сама Анна Григорьевна ценила эти письма-признания мужа! Она, по её словам, читала-перечи-

тывала их сотни раз и после смерти Фёдора Михайловича всюду возила с собой, никогда не расставалась с ними и ценила чуть ли не выше всех великих романов мужа-гения.

У самой Анны Григорьевны всё наоборот. Она, прекрасно зная-понимая, за кого она вышла замуж, справедливо и дальновидно предполагала, что переписка их с мужем рано или поздно будет опубликована, и потому письма её к безусловно и горячо-пылко любимому супругу гораздо более сухие, чем его, по тону, осторожнее по лексике, менее откровенны-открыты в части проявления чувств. Сам Фёдор Михайлович даже укорял жену и обижался не на шутку: «Так как ты присылаешь письма довольно *постные*, то и я на сей раз не выказываю чувств моих, как прежде, хотя и *подтверждаю* всё, что писал прежде. Люблю тебя побольше, чем ты меня, это уж конечно...»

Но и в письмах Анны Григорьевны к мужу (их дошло до нас – 75) можно среди сухих домашне-хозяйственных известий и обыденно-бытовых забот о делах и здоровье мужа отыскать строки-крупницы проявления сильных любовных чувств.

Итак, свидетельствует ОНА:

«Цалую милого Фечту (Младшего сына Федю. – Н. Н.) миллионы раз. Ты не поверишь, как мне без него тучно. Милый, милый мой Фечта! (не ты, конечно, а другое дорогое маленькое существо). Я и тебя, милый Федя, очень, очень люблю и скучаю по тебе, вероятно, более, чем ты по мне...» (10 июня 1872 г. – как видим, в данном случае признание в любви выглядит как-то странно, как бы вынужденное, в виде оправдания, но – признание!)

«Я решила тотчас отправить телеграмму и спросить, лучше ли тебе, и если не лучше, то хотела выехать завтра в Петербург. Я живо собралась, но только что вышла в переднюю, как вошёл посланный с телеграммой. Я так была бо-

лезненно настроена, что, увидав телеграмму, просто сошла с ума; я страшно закричала, заплакала, вырвала телеграмму и стала рвать пакет, но руки дрожали, и я боялась прочесть что-нибудь ужасное, но только плакала и громко кричала. На мой крик прибежал хозяин и вместе с телеграфистом стали меня успокаивать. Наконец, я прочла и безумно обрадовалась, так что долго плакала и смеялась. Так как я об тебе беспокоилась, то при виде телеграммы мне представилось, или что ты очень плох, или даже умер. Когда я держала телеграмму, то мне казалось, если я прочту, что ты умер – я с ума сойду. Нет, милый Федя, если бы ты видел мой ужасный испуг, ты не стал бы сомневаться в моей любви. Не приходится в такое отчаяние, если мало любят человека...» (16 августа 1873 г. – А это уже непосредственное, искреннее, пред лицом пусть и мнимой, но смертельной опасности из сердца выравшееся проявление глубочайших чувств!)

«Милый, милый, тысячу раз милый Федичта, мне без тебя тоже *очень, очень* скучно. Я очень мечтаю о твоём приезде и рада, что теперь тебе осталось лечиться меньше трёх недель. Твои письма я часто перечитываю и всегда жалею, что нет ещё третьего листа. Каждую ночь я непременно около часу ночи просыпаюсь от сна, в котором видела тебя, и лежу с полчаса, всё тебя себе представляю. Дорогой ты мой, я тебя очень сильно люблю, ценю тебя и уважаю; я знаю, что ни с кем я не была бы так счастлива, как с тобою; знаю, что ты лучший в мире человек. До свидания, моё милое сокровище, цалую и обнимаю тебя много раз, остаюсь любящая тебя страстно жена Аня...» (22 июня 1874 г. – Без комментариев.)

«Спасибо тебе, моё золотое сокровище, за твои милые, дорогие письма. Радуют они меня несказанно. Люблю тебя я, дорогой мой, безумно и очень виню себя за то, что у нас идёт иногда шероховато. А всё нервы, всё они виноват-

ты. Тебя же я люблю без памяти, вечно тебя представляю и ужасно горжусь. Мне всё кажется, что все-то мне завидуют, и это, может быть, так и есть. Не умею я высказать только, что у меня на душе, и очень жалею об этом. А ты меня люби, смотри же, голубчик мой, люби. Цалую и обнимаю тебя горячо и остаюсь любящая тебя чрезвычайно Аня.

Всё вижу восхитительные сны, но боюсь их рассказывать тебе, а то ты Бог знает что пишешь, а вдруг кто читает, каково?..» (11 августа 1879 г. – 12,5 лет супружеской жизни.)

«Ну до свиданья, моё золотое сокровище, но признайся, что ты без меня не можешь жить, а? Я так признаюсь, что не могу и что нахожусь, увы! под сильным твоим влиянием. Крепко обнимаю тебя и цалую тебя нежно-нежно и остаюсь любящая тебя Аня...» (31 мая 1880 г. – Одно из самых последних писем жены к Достоевскому.)

Это – письма. А в художественно-документальных произведениях Анны Григорьевны – «Воспоминаниях» и особенно на страницах расшифрованного дневника периода женевакской эмиграции – можно почувствовать-услышать ещё более горячий пульс любовных чувств, казалось бы, осторожно-сдержанной молодой супруги, проявляемых, увы, зачастую через ревность.

Однажды, к примеру, во время совместной прогулки по Женеве Фёдор Михайлович случайно вынул из кармана клочок бумаги с карандашной записью и, когда Анна Григорьевна захотела посмотреть её, – разорвал и выбросил. Происходит-вспыхивает ссора. Они расходятся в разные стороны, но Анна Григорьевна, подозревая, что это была записка от Сусловой, быстро возвращается, подбирает клочки, дома складывает, читает непонятную ей фразу и тут же, по свежим следам, выплёскивает-доверяет свои чувства-переживания интимному стенографическому дневнику:

«Мне представилось, что эта особа приехала сюда в Женеву, что Федя видел её, что она не желает со мной видеться, а видятся они тайно, ничего мне не говоря, а разве я могу быть уверена, что Федя мне не изменяет? Чем я в этом могу увериться? Ведь изменил же он этой женщине, так отчего же ему не изменить и мне? <...> потому-то я дала себе слово всегда наблюдать за ним и никогда не доверяться слишком его словам. Положим, что это должно быть и очень дурно, но что же делать, если у меня такой характер, что я не могу быть спокойной, если я так люблю Федю, что ревную его...»

К слову, о ревности. На склоне лет в свой последний роман писатель-мыслитель включит небольшой, но чрезвычайно ёмкий трактат на тему, которая тревожила-мучила его на протяжении всей сознательной жизни:

«Ревность! «Отелло не ревнив, он доверчив», заметил Пушкин, и уже одно это замечание свидетельствует о необычайной глубине ума нашего великого поэта. У Отелло просто разможжена душа и помутилось всё мировоззрение его, потому что погиб его идеал. Но Отелло не станет прятаться, шпионить, подглядывать: он доверчив. Напротив, его надо было наводить, наталкивать, разжигать с чрезвычайными усилиями, чтоб он только догадался об измене. Не таков истинный ревнивец. Невозможно даже представить себе всего позора и нравственного падения, с которыми способен ужиться ревнивец безо всяких угрызений совести. И ведь не то, чтоб это были всё пошлые и грязные души. Напротив, с сердцем высоким, с любовью чистою, полною самопожертвования, можно в то же время прятаться под столы, подкупать подлеjších людей и уживаться с самую скверною грязью шпионства и подслушивания. <...> трудно представить себе, с чем может ужиться и примириться и что может простить иной ревнивец! Ревнивец-то скорее

всех и прощают, и это знают все женщины. Ревнивец чрезвычайно скоро (разумеется, после страшной сцены вначале) может и способен простить, например, уже доказанную почти измену, уже виденные им самим объятия и поцелуи, если бы, например, он в то же время мог как-нибудь увериться, что это было «в последний раз» и что соперник его с этого часа уже исчезнет, уедет на край земли, или что сам он увезёт её куда-нибудь в такое место, куда уж больше не придёт этот страшный соперник. Разумеется, примирение произойдёт лишь на час, потому что если бы даже и в самом деле исчез соперник, то завтра же он изобретёт другого, нового и приревнует к новому. И казалось бы, что в той любви, за которую надо так подсматривать, и чего стоит любовь, которую надобно столь усиленно сторожить? Но вот этого-то никогда и не поймёт настоящий ревнивец, а между тем между ними, право, случаются люди даже с сердцами высокими. Замечательно ещё то, что эти самые люди с высокими сердцами, стоя в какой-нибудь каморке, подслушивая и шпионя, хоть и понимают ясно «высокими сердцами своими» весь срам, в который они сами добровольно залезли, но однако в ту минуту, по крайней мере пока стоят в этой каморке, никогда не чувствуют угрызений совести...»

Сколько же здесь личного! И сколько в страстном и всепрощающем ревнивце Мите Карамазове от самого Достоевского, и особенно, без сомнения, от Достоевского периодов любви-отношений с Марией Дмитриевной Исаевой и Аполлинарией Суловой. Как мы помним, будущий автор «Братьев Карамазовых», переживая эти бурные романы, доходил от приступов ревности в такое отчаяние, что желал порой разом и кардинально разрешить эту муку любым, даже самым *фантастическим* образом. Обыкновенно патологические ревнивцы – это потенциальные убийцы-преступники, но нередки и случаи, когда несчастный человек,

физически уничтожив соперника и, тем более, изменницу жену, следом кончает и с собой. Бывает, что ревность доводит впечатлительного человека до суицида, когда веско и неопровержимо подтверждается фактом измены.

Достоевский никогда не позволял себе желать несчастий и бед своим счастливым соперникам и, уж тем более, – любимой женщине. Попросту говоря, он либо стушёвывался-самоустранялся из треугольника, жертвуя своей любовью (как в реальном романе с Марией Дмитриевной и в литературно-художественном – «Униженные и оскорблённые»), либо продолжал терзать-мучить себя, не в силах расстаться с любимой женщиной и поминутно думал о «прыжке в пропасть» (как в реальных отношениях с Аполлинарией и книжно-романных между Игроком и Полиной).

Совершенно не то в случае с Анной Григорьевной. Здесь у Достоевского чуть ли не с первых дней начал проявляться прямо-таки норов отца, жёсткого домостроевца, – сказались гены. Младший брат писателя Андрей вспоминал, какие тяжёлые сцены ревности устраивал *папенька* своей жене.

Первая серьёзная сцена ревности в семье Достоевских случилась-вспыхнула через полтора месяца после венчания, когда *молодые* находились в Москве как бы в свадебном путешествии. Они проводили вечер в доме у родственников Фёдора Михайловича, и Анна Григорьевна позволила себе пообщаться-поговорить чересчур оживлённо с неким остроумным и весёлым юношей. Мало этого, за ужином они сели рядом и продолжили интенсивно знакомиться, несмотря на всё более темневшее лицо Достоевского, сидящего напротив. Дальше происходят поразившие и даже напугавшие юную супругу вещи:

«Тотчас после ужина мы уехали домой. Всю длинную дорогу Фёдор Михайлович упорно молчал, не отвечая на мои

вопросы. Вернувшись домой, он принялся ходить по комнате и был, видимо, сильно раздражён. Это меня обеспокоило, и я подошла приласкать его и рассеять его настроение. Фёдор Михайлович резко отстранил мою руку и посмотрел на меня таким недобрый, таким свирепым взглядом, что у меня замерло сердце.

– Ты на меня сердишься, Федя? – робко спросила я. – За что же ты сердишься?

При этом вопросе Фёдор Михайлович разразился ужасным гневом и наговорил мне много обидных вещей. По его словам, я была бездушная кокетка и весь вечер кокетничала с моим соседом, чтобы только мучить мужа. Я стала оправдываться, но этим только подлила масла в огонь. Фёдор Михайлович вышел из себя и, забыв, что мы в гостинице, кричал во весь голос. Зная всю неосновательность его обвинений, я была обижена до глубины души его несправедливостью. Его крик и страшное выражение лица испугали меня. Мне стало казаться, что с Фёдором Михайловичем сейчас будет припадок эпилепсии или же он убьёт меня. Я не выдержала и залилась слезами...»

В «Воспоминаниях» Анны Григорьевны о приступах ревности мужа речь идёт не так часто, как о приступах-припадках эпилепсии, но тема эта тоже одна из сквозных. Чего стоит признание мемуаристки, относящееся к самым последним годам жизни мужа, когда он активно участвовал в литературных вечерах и брал на них с собой жену: «К сожалению, эти мои выезды в свет нередко омрачались для меня совершенно неожиданными и ни на чём не основанными приступами ревности Фёдора Михайловича, ставившими меня иногда в нелепое положение...» И далее приводится пример действительно совершенно нелепого и даже комичного случая, как муж приревновал Анну Григорьевну к товарищу своей юности, а на тот момент уже седовласому ста-

рику Д. В. Григоровичу, который, здороваясь, всего только галантно поцеловал ей ручку...

Но здесь стоит привести ещё более характерный и впечатляющий эпизод вспышки ревности Достоевского, которая могла иметь очень даже трагические последствия. Случилось это в мае 1876 года. Анна Григорьевна в один из недоброй памяти весенних дней вздумала легкомысленно пошутить: переписала слово в слово грязное анонимное письмо из романа С. Смирновой «Сила характера», который только-только, буквально накануне, прочёл в «Отечественных записках» муж, и отправила его почтой на имя Фёдора Михайловича. На другой день, после весёлого и шумного семейного обеда, когда супруг удалился со стаканом чая к себе в кабинет читать свежие письма и уже должен был, по плану Анны Григорьевны, узнать из анонимного послания, что-де «близкая ему особа так недостойно его обманывает» и что ему стоит посмотреть-узнать, чей это портрет она «на сердце носит», – шутница пошла к нему, дабы вместе посмеяться.

«Я вошла в комнату, села на своё обычное место около письменного стола и нарочно завела речь о чём-то таком, на что требовался ответ Фёдора Михайловича. Но он угрюмо молчал и тяжёлыми, точно пудовыми, шагами, расхаживал по комнате. Я увидела, что он расстроен, и мне мигом стало его жалко. Чтобы разбить молчание, я спросила:

– Что ты такой хмурый, Федя?

Фёдор Михайлович гневно посмотрел на меня, прошёл ещё раз два по комнате и остановился почти вплоть против меня.

– Ты носишь медальон? – спросил он каким-то сдавленным голосом.

– Ношу.

– Покажи мне его!

– Зачем? Ведь ты много раз его видел.

– По-ка-жи ме-даль-он! – закричал во весь голос Фёдор Михайлович; я поняла, что моя шутка зашла слишком далеко, и, чтобы успокоить его, стала расстёгивать ворот платья. Но я не успела сама вынуть медальон: Фёдор Михайлович не выдержал обуревавшего его гнева, быстро нагнувшись на меня и изо всех сил рванул цепочку. Это была тоненькая, им же самим купленная в Венеции. Она мигом оборвалась, и медальон остался в руках мужа. Он быстро обошёл письменный стол и, нагнувшись, стал раскрывать медальон. Не зная, где нажать пружинку, он долго с ним возился. Я видела, как дрожали его руки и как медальон чуть не выскользнул из них на стол. Мне было его ужасно жаль и страшно досадно на себя. Я заговорила дружески и предложила открыть сама, но Фёдор Михайлович гневным движением головы отклонил мою услугу. Наконец, муж справился с пружиной, открыл медальон и увидел с одной стороны – портрет нашей Любочки, с другой – свой собственный. Он совершенно оторопел, продолжал рассматривать портрет и молчал.

– Ну, что нашёл? – спросила я. – Федя, глупый ты мой, как мог ты поверить анонимному письму?

Фёдор Михайлович живо повернулся ко мне.

– А ты откуда знаешь об анонимном письме?

– Как откуда? Да я тебе сама его послала!

– Как сама послала, что ты говоришь! Это невероятно!

– А я тебе сейчас докажу!

Я подбежала к другому столу, на котором лежала книжка «Отечественных записок», порылась в ней и достала несколько почтовых листов, на которых вчера упражнялась в изменении почерка.

Фёдор Михайлович даже руками развёл от изумления.

– И ты сама сочинила это письмо?

– Да и не сочиняла вовсе! Просто списала из романа Софии Ивановны. Ведь ты вчера его читал: я думала, что ты сразу догадаешься.

– Ну где же тут вспомнить! Анонимные письма все в таком роде пишутся. Не понимаю только, зачем ты мне его послала?

– Просто хотела пошутить, – объясняла я.

– Разве возможны такие шутки? Ведь я измучился в эти полчаса!

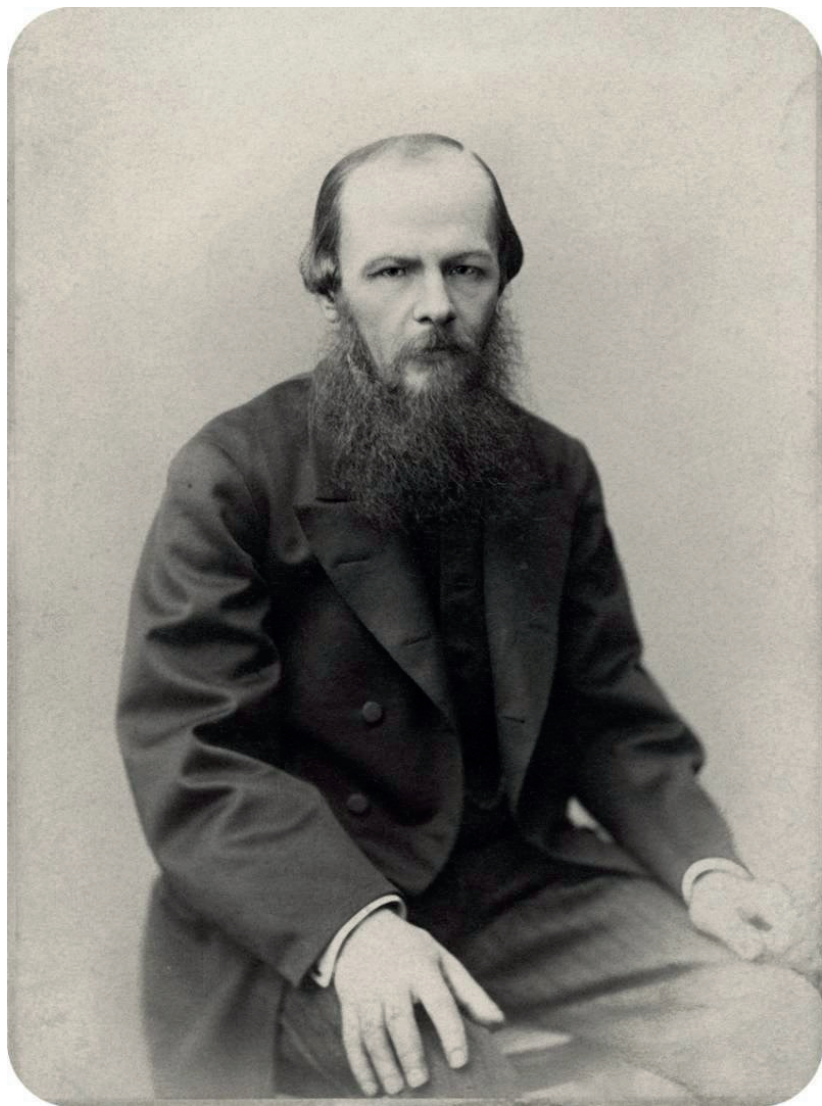
– Кто ж тебя знал, что ты у меня такой Отелло и, ничего не рассудив, полезешь на стену.

– В этих случаях не рассуждают! Вот и видно, что ты не испытала истинной любви и истинной ревности.

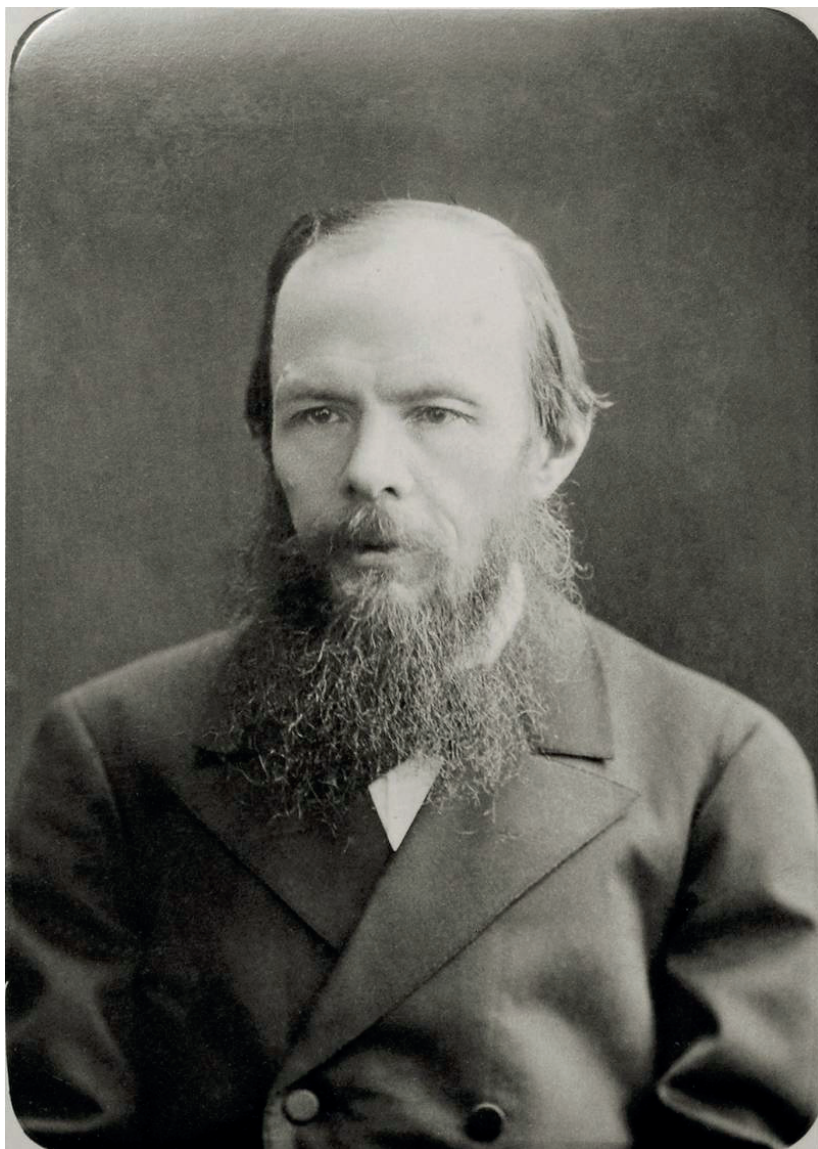
– Ну, истинную любовь я и теперь испытываю, а вот что я не знаю «истинной ревности», так уж в этом ты сам виноват: зачем ты мне не изменяешь? – смеялась я, желая рассеять его настроение, – пожалуйста, измени мне. Да и то я добрее тебя: я бы тебя не тронула, но уж зато ей, злодейке, выцарапала бы глаза!!

– Вот ты всё смеёшься, Анечка, – заговорил виноватым голосом Фёдор Михайлович, – а, подумай, какое могло бы произойти несчастье! Ведь я в гневе мог задушить тебя! Вот уж именно можно сказать: Бог спас, пожалел наших деток! И подумай, хоть бы я и не нашёл портрета, но во мне всегда оставалась бы капля сомнения в твоей верности, и я бы всю жизнь этим мучился. Умоляю тебя, не шути такими вещами, в ярости я за себя не отвечаю!

Во время разговора я почувствовала какую-то неловкость в движении шеи. Я провела по ней платком, и на нём оказалась полоска крови: очевидно, сорванная с силою цепочка оцарапала кожу. Увидев на платке кровь, муж мой пришёл в отчаяние...»



Достоевский. 1872. В.Я. Лауфферт



Достоевский. 1879. К.А. Шапиро



Достоевский и Анна Сниткина



П. Ф. Борель. Достоевский. Литография. 1862



Ян Вилимек. Портрет Достоевского. 1879

Как видим, опять всплывает имя Отелло, и Достоевский, опять же не шутя, восклицает, что способен задушить из ревности и что в ярости за себя не отвечает. Между прочим, именно в этот период Фёдор Михайлович желал сыграть, мечтал сыграть роль Отелло в одном из домашних спектаклей у Штакеншнейдеров. И здесь ещё раз стоит перечитать рассуждения автора «Братьев Карамазовых» о мнении Пушкина, что Отелло не ревнив, он доверчив, и вспомнить в этой связи непохожесть ревности Достоевского периода ухаживания за Марией Дмитриевной и периода семейной жизни с Анной Григорьевной. Проницательно и убедительно, на мой взгляд, объяснил этот феномен И. Л. Волгин: «Когда в Сибири он сватался к Марии Дмитриевне Исаевой, он был прекрасно осведомлен о её отношениях к местному учителю Вергунову <...> Мария Дмитриевна и не думала скрывать своей связи. Здесь не было обмана. В истории же с поддельным анонимным письмом его потрясла возможность неправды, лжи – *тайной* измены любимой женщины, жены, матери его детей...»

Итак, ревность Достоевского-мужа всегда агрессивно однонаправлена в сторону жены – с соперниками он даже и не пытается выяснять отношения. А уж, казалось бы, чего проще и естественнее – сделать тут же по горячим следам старому приятелю Григоровичу замечание: не смей, дескать, целовать руку моей жене! Нет, весь напор ревности вынуждена принимать на себя только Анна Григорьевна.

Ну, а сама она, со своей стороны, как себя ведёт, как играет роль Отелло в юбке? О женевском эпизоде с письмом Сусловой мы уже знаем. А давайте вчитаемся ещё раз в её попутное и как бы полушутливое замечание в финале сцены с медальоном: «...я бы тебя не тронула, но уж зато *ей*, злодейке, выцарапала бы глаза!!» Здесь и курсив, и двойной восклицательный знак – это всё Анны Григорьевны, даже

годы спустя после смерти мужа впадающей в бойцовско-агрессивное состояние при мысли об его измене.

А поводы для ревности своей молодой жене поначалу обильно давал сам Достоевский. Он с первых же дней знакомства просто поразил Анну Григорьевну своей откровенностью самого интимного свойства. Во время диктовки «Игрока» (который, к слову, – сам по себе донельзя исповедально-откровенный в этом плане) он пускается в подробности своего ещё не до конца угасшего романа с Суловой... Он подробно рассказывает полузнакомой *стенографке* о своём сватовстве к А. В. Корвин-Круковской... Эти его откровенности занозами засели в памяти сначала невесты, а потом и жены, побуждая её к подозрительности (раз мог изменять Марии Дмитриевне, значит способен изменить и ей!). Но ведь и сам Фёдор Михайлович как бы провоцировал подозрение, слежку и перлюстрацию со стороны юной супруги. Он продолжал переписываться с Суловой, он рисовал и рисовал её образ в своих новых произведениях...

Сцена в Женеве – это как бы отголосок ещё более бурного эпизода, случившегося в первые дни их эмиграции, в Дрездене. К своему счастью, Анна Григорьевна никогда не прочла письмо своего мужа к Суловой от 23 апреля /5 мая/ 1867 года (оно было впервые опубликовано в 1923 г.) – думается, тон и некоторые выражения этого письма весьма бы её покорибли: «Стало быть, милая, ты ничего не знаешь обо мне <...>. Я женился в феврале нынешнего года <...> Миллюков посоветовал мне взять стенографа, чтоб диктовать роман <...>. Стенографка моя Анна Григорьевна Сниткина, была молодая и довольно пригожая девушка, 20 лет, хорошего семейства, превосходно кончившая гимназический курс, с чрезвычайно добрым и ясным характером. Работа у нас пошла превосходно. <...> При конце романа я заметил, что стенографка моя меня искренно любит, хотя никогда не

говорила мне об этом ни слова, а мне она всё больше и больше нравилась. Так как со смерти брата мне ужасно скучно и тяжело жить, то я и предложил ей за меня выйти. Она согласилась, и вот мы обвенчаны...»

Итак, женился он на ней *от скуки*... Видимо, отголоски такого чудовищного и как бы оправдательного заявления в ответном письме Сусловой (оно не сохранилось) аукнулись, ибо Анна Григорьевна, вскрыв её послание (муж находился в отъезде) и прочитав, комментирует в дневнике своё мнение, что-де это «очень глупое и грубое письмо», и добавляет: «Я два раза прочла письмо <...> подошла к зеркалу и увидела, что у меня всё лицо в пятнах от волнения...» К слову, за несколько дней до того Анна Григорьевна перлюстрировала ещё одно письмо Сусловой, пока муж в кафе читал газеты, и была по прочтении так потрясена-взволнована, что довела себя до истерики, боясь возобновления старой привязанности мужа.

Простодушная уверенность Анны Григорьевны в необходимости перлюстрации и слежки ради удержания мужа и сохранения любви – умиляет. Позже, когда она убедилась-поверила, что с главной соперницей, Аполлинарией Сусловой, действительно у мужа всё и вся покончено, Анна Григорьевна ревность стала проявлять не так бурно, но рецидивы случались. Недаром же Фёдор Михайлович в письме из Эмса (от 16 /28/ июня 1874 г.), упоминает, что-де она боится, как бы он не «пустился» за другими женщинами за границу, вдали от жены. И совершенно наивно-трогательно воспринимается в этом плане замечание Л. Ф. Достоевской в книге «Достоевский в изображении своей дочери», где она пишет о том, как в последние годы своей жизни её отец стал часто посещать салон графини Толстой, вдовы поэта А. К. Толстого: «Моя мать, хотя и была немного ревнива, но соглашалась с тем, что её муж часто посещал графиню,

которая в то время уже вышла из возраста соблазнительницы...»

И всё же кратковременные разлады из-за необоснованной ревности, денежные затруднения и прочие тёмные облачка на небосклоне семейной жизни четы Достоевских не заслоняли главного – несомненного счастья этого брака. Анна Григорьевна стала доподлинным ангелом-хранителем Достоевского. Господь послал её Фёдору Михайловичу как награду за муки. «Ах, зачем Вы не женаты и зачем у Вас нет ребёнка, многоуважаемый Николай Николаевич! Клянусь Вам, что в этом 3/4 счастья жизненного, а в остальном разве только одна четверть...», -- пылко восклицает он в письме к Н. Н. Страхову в 1870-м, ещё ощущая себя молодожёном. «До свидания, моя дорогая, желанная и бесценная, целую твои ножки...», -- так заканчивает одно из самых последних писем к жене Достоевский в 1880-м.

Безусловно то, что именно Анна Григорьевна просто-напросто продлила его дни. Без её ухода, ласки, заботы, помощи, без её ЛЮБВИ он сгорел бы, умер намного раньше января 1881-го. И можно серьёзно утверждать-предполагать, что не будь в жизни-судьбе Достоевского Анны Григорьевны, мы бы, по крайней мере, даже первый роман «Братьев Карамазовых» не имели, не узнали бы... Право, стоит вспомнить-процитировать замечательные слова самой Анны Григорьевны:

«Мне всю жизнь представлялось некоторого рода загадку то обстоятельство, что мой добрый муж не только любил и уважал меня, как многие мужья любят и уважают своих жён, но почти преклонялся предо мною, как будто я была каким-то особенным существом, именно для него созданным, и это не только в первое время брака, но и во все остальные годы до самой его смерти. А ведь в действительности я не отличалась красотой, не обладала ни талантами,

ни особенным умственным развитием, а образования была среднего (гимназического). И вот, несмотря на это, заслужила от такого умного и талантливого человека глубокое почитание и почти поклонение...»

Но любовь её к мужу была не только безграничной, но и деятельной. После смерти Достоевского она выпустила 7 собраний его сочинений, активно помогала составителям книги «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского» (1883), выпустила «Библиографический указатель сочинений и произведений искусства, относящихся к жизни и деятельности Ф. М. Достоевского» (1906), написала «Воспоминания» (1911–1916 гг.), работала над расшифровкой своего «Женевского дневника» 1867 г., готовила к изданию отдельной книгой письма Достоевского к ней...

Умерла Анна Григорьевна в Ялте в голодном военном 1918 г., а через 50 лет прах её был перенесён в Александро-Невскую лавру и захоронен рядом с могилой мужа – как она и мечтала.

На первой странице своего великого романа-завещания «Братья Карамазовы» Достоевский кратко написал: «Посвящается Анне Григорьевне Достоевской». За полтора года до смерти, 6 января 1917 г., А. Г. Достоевская записывает в альбом композитора С. С. Прокофьева (автора оперы «Игрок») не менее кратко и также глубинно многозначно: «Солнце моей жизни – Фёдор Достоевский».

В год смерти Достоевского Анне Григорьевне исполнилось 35 лет. Говорят, на настойчивые вопросы, почему она вторично не выйдет замуж, она вполне серьёзно отвечала: мол, а за кого же после Фёдора Михайловича можно выйти, если у Льва Толстого жена уже есть?..

Великая жена великого человека!

2021 г.



Валерий АРШАНСКИЙ

Отпускница

Рассказ

К Ярославскому вокзалу такси подвозит её ровно в 23-00. Есть время остановиться, оглядеться, не спеша пройти к своему вагону, сторонясь волосатого толстяка в расхристанной полосатой пижаме, мечущегося по перрону в поисках пивного киоска, дамы с летящей походкой, разительно похожей на её миниатюрную собачку, матерящегося прораба, низвергающего по мобильнику поток брани на провинившегося в чём-то бригадира. (Надежда Николаевна всех, кто для связки слов чрезмерно употребляет табуированные выражения, называет про себя прорабами).

Вот и он, её седьмой – купейный, в котором отпускница отправится не на берег турецкий и не на Мальдивы, о чём, как бы шутя, расспрашивал её по дороге на площадь трёх вокзалов дотошный и не очень-то воспитанный таксист среднеазиатской внешности, а в далёкий-предалёкий город Владивосток. Уменьшительно-ласкательно – Владик.

Проводница внимательно рассматривает проездной документ и паспорт новоявленной пассажирки, а, ознакомившись, кивает ей с особенной приязнью, заранее предлагая все виды комфорта, чем только богата: как же! Пожа-

ловала своя, не просто железнодорожница, а заместитель НОДа. То бишь, начальника отделения дороги, как там написано? По стратегическому планированию. Стратег, значит, шесть суток пути с ней рядом будет...

Надежда Николаевна уже два года, как «пересиживает» свой законный выход на пенсию. Сама порывалась и в этом мае уйти, поселиться на даче. Заняться капитальным обновлением и уютного домика, и приусадебного участка, и садовых посадок – есть для этого и силы, и средства, и понимание того, как будет выглядеть обновлённый ландшафт. Но Пятница разве отпустит? Вцепился, как клещ: «Ты уйдёшь – и я уйду, гори оно всё огнём, мне что, больше всех надо?» Против такого довода она пойти не могла. Ничего себе, НОД уйдёт, отдавший, как и она, половину жизни Отделению... Кто же тогда здесь останется? Уборщица тётя Клава?

– Ладно, Анатолий Дмитриевич, будь по-вашему! (Даже в минуты самого душевного разговора никак не могла она себя пересилить, перейти с одноклассником по школе, однокурсником по МИИТу, всемогущим Пятницким, на «ты». НОД – противник всяческой фамильярности и панибратства в служебных отношениях – особенно ценил в своём стратее такое качество).

– Надюш, солнце! Это же совсем другое дело! – вспыхнули зелёными светофорчиками очи Пятницы. – Оформляй, пожалуйста, свой бесплатный проездной, а я торжественно объявляю о введении тебе персональной надбавки за долготрудный плодотворный труд и высочайшую квалификацию!

– Тогда с меня поляна, товарищ начальник?

– Йес! Но – по возвращении. Приедешь – расскажешь...

Надбавка к окладу не мешает поддерживать и внучку-студентку, засыпающую бабушку благодарностями после каждого пополнения банковской карты, и самой бу-

дет кстати – взятки она никогда в жизни не брала и не берёт, а честные денежки пригодятся на старость... Праведные заработки всегда впрок пойдут, в отличие от греховных, неправедных.

Итак впереди шесть суток дальней дороги с полутора десятком непродолжительных остановок, даже в больших городах. До нынешней Вятки, а бывшего Кирова (она хорошо помнит эту в детстве прочитанную книжечку о пламенном большевике Сергее Мироновиче Кирове – «Мальчик с Уржума»), можно поспать. Если только дадут спокойно поспать неугомонные соседи – хорошо упитанная семейная пара с взрослой дочерью, активно выясняющие междоусобные отношения. У опытной путешественницы Надежды Николаевны есть давно проверенное средство от такого рода скандалистов и храпунов: беруши, плотно закрывающие от проникновения мата и тракторного рокота ушные раковины. И всё равно, даже через барьеры, доносится визг и шипение «сладкой парочки»: «Говорил тебе, дур-р-ре, полетим самолётом, то на то и вышло бы, нет, заочковала? Пару тыщ пожалела, экономка хренова?». «Да сам ты козёл, вали ты от меня подальше, видеть тебя не хочу, чмо паршивое ...»

Вот это пермяки, солёные уши... Да разве так можно при взрослой девочке, при дочери? Она ведь вашим подобием вырастет, будет к мужу обращаться, как папа с мамой; дети всегда наследуют пример своих родителей... Определённо, придётся поменять купе, – думает Надежда Николаевна, – недаром проводница ей сразу предлагала свободное место до Екатеринбурга. Но как же без людского общения? Пообщалась...

Ладно, переживём. Расставание с Пятницей пережила в своё время – ничего не случилось? Как же не случилось? А сын, Арсений? Но простите, Арсений Николаевич, не его,

а её и только её, сын, благополучно возвращённый ею, мамой, получивший отчество от деда. Теперь Арсюша – прогрессирующий учёный Института Земли. Её мальчишка, а не его, вот так вот. За материальную помощь в течение всех лет спасибо, безусловно, она знает: Анатолий никогда не был скупым человеком, ни в школе, ни в вузе... Но рушить семью влюблённого в неё Пятницы она не могла себе позволить даже в самых дерзких мечтаниях. Другое дело, что о перкалевого цвета свадебной фате, белоснежном букете роз, ослепительной белизны модном платье в пол, пошитом по Юдашкинским лекалам, модельных итальянских туфельках на среднем каблучке, как у героини «Фанфан – Тюльпан» Джини Лоллобриджи, всю жизнь мечталось...

«НАДЯ, ТЫ С УМА СОШЛА, ТАКОЕ ВДРУГ ВСПОМИНАТЬ? НУ-КА, НА ПРАВЫЙ БОЧОК И – СПАТЬ!!»

Ей снится тётя Нюра, мамина младшая родная сестра, каждую субботу «приплывающая» к ней в гости, на «Красные ворота», в Орликов переулочек, со своей одышкой, своим неизменным бисквитным тортиком, своими вечными разговорами о своих болячках со своего Речного вокзала. Ей – утром это уже не вспомнить – снится улыбающийся во весь рот перед отправлением в тот треклятый Баграм только-только получивший майорскую звезду Родик, с которым она могла бы связать свою судьбу через три года после полного разрыва с Пятницей... Чистый, светлый Родик, названный так в честь маршала Родиона Яковлевича Малиновского, в министерстве обороны которого служил Родика отец, души не чаявший в своём шефе... Всегда ставил сыну в пример выбившегося в маршалы и в министры человека из самых что ни на есть низов. Подумать только: внебрачного отпрыска кухарки, одесского батрака с трёхклассным церковно-приходским образованием, но затем – Георгиевского кавалера в Первую империалистическую, стремитель-

но поднявшегося в росте в годы Великой Отечественной, сражаясь во главе целых соединений за Донбасс и Правобережную Украину... А Родик, командуя во враждебных горах Афганистана остатками батальона, не скрылся за спинами ребят, погиб, как и они, от пуль душманов...

Уже выходя из купе (господи, где ж это мы стоим? Пермь?) беспокойная чета всё продолжает грозный гул – теперь о разнице стоимости билетов на родной «Аэрофлот» и какой-то «Эйрлайнс», чьи самолёты летают из Москвы на Урал по тем же авиалиниям... Грязные эпитеты сопровождают по-прежнему бурную речь «предков», нет, по-нынешнему, «родаков», не пресекаемую привыкшей, видимо, к милым родительским отношениям дочерью... На миг Надежде Николаевне, никогда не считавшей себя пророком, показалось, что брак этих пермяков уже трещит по швам и скоро ему вообще придёт швах. Крышка. Капут. Амба. Вот девчонку жалко. А «дурра» и «козёл» ещё найдут себе счастье, при их-то габаритах...

* * *

При смене декораций, когда купе покинут одни действующие лица и придёт другой, герой-одиночка, Надежде Николаевне несказанно повезёт: совершенно незнакомый попутчик оправдывает всю её затею с поездкой во Владик туда и обратно. Мужчина с модной лёгкой небритостью, холостяк (без обручального кольца, зато с рюкзаком, покрытым такими сальными пятнами, с которыми ни одна порядочная жена мужа в путь не отпустила бы), сходу выложит на столик незамысловатый холостяцкий набор: купленные тут же, на перроне, сыр, колбасу, что там ещё у него – овсяное (видимо, любимое?) печенье; приветливо улыбнётся:

«Милости прошу к нашему шалашу. Вы ведь ещё не завтракали?» А у неё – пирожки домашние с мясом, рисом и капустой. А у неё – сальце с аппетитными прожилочками и баночка малосольных огурчиков ... Но это всё – прелюдия. Главное в другом: Артур расскажет ей об отце, вначале комсомольце-добровольце, а затем – по глупости – арестанте, отбывавшем срок здесь, на лесоповале в Соликамских краях. За что? Имел рядовой солдат глупость, имел неосторожность сказать в августе Сорок Первого на привале, что немецкие танки посильнее наших будут. Всё. Ему и котелок с перловой кашей дожрать не дали. Жаждающий деятельности человек, приставленный к их батальону, тут же сварганил протокол допроса при трёх свидетелях...

– И получил мой батя, как он сам говорил, «сто шестнадцать пополам», то есть, зловещую «58»-ю статью, политическую, «плюс три года по рогам» – то есть, после отбытия ещё и трёхлетнее поражение в гражданских правах.

– Какой ужас! – качает головой Надежда Николаевна.

– Да. Вот как бывало, – горько улыбается Артур. – Зато с детьми нашими папе с мамой повезло: старшая моя сестра – профессор медицины, в клинике Бурденко, слышали, да? Брат – атташе – после военного института иностранных языков. Ну, а ваш покорный слуга – литератор, вот закончил книгу о папе. Затеял повесть, а родился роман. Название дал соответствующее: «Щепка». Как тогдашние идеологи говорили: «Лес рубят – щепки летят». Вот и мой отец, и тысячи таких, как он, были в те годы просто щепками...

– Обязательно прочитаю! – не сводит с Артура полных сочувствия глаз Надежда Николаевна. – Так вы, значит, писатель?

– Хм... Скорее, литератор. Знаете, сказать о себе – я

писатель, всё равно, что сказать – я красивый. А кто же тогда Толстой, Достоевский, Тургенев?

– Так Вы и правда красивый, это не комплимент, а факт! – поощрительно улыбается Надежда Николаевна, всего лишь минутой позже меняющая искреннюю улыбку на такую же искреннюю печаль, услышав от Артура: «Слышала бы это моя покойная жена..»

– ???

– Да. Автокатастрофа. Год назад. Еду вот во Владивосток, к маме Лиды, нужно поддержать Ирину Алексеевну, болеет. И тяжело. Внук – Игорёк мой – уже там, у неё, прилетел раньше меня к любимой бабушке... А я не люблю самолёты. Одиночество... Мне среди людей легче дышится и ... просто жить охота.

Ей ли, Надежде Николаевне, путешественнице поневоле, не понять вящих слов Артура, заслушавшейся собеседника настолько, что и внимания не обращает на подплывающие контуры огромного вокзала с вывеской чёрным по белому «ЕКАТЕРИНБУРГ», где поезд стоит дольше, чем потом где бы то ни было – целых 28 минут. Можно всласть поговорить, а можно и всласть помолчать, слушая только взволнованное биение сердец друг друга.





Сергей ДОРОВСКИХ

Шиндяй. Колдун тамбовских лесов

Главы из романа

Сигареты на перекрёстке

Наступит лето, придёт долгожданный отпуск, и тогда уж я обязательно брошу курить.

Так думал я, вжимаясь мокрой спиной в кресло, искусственная кожа поскрипывала от каждого движения. Офис и духота – синонимы, тем более, когда не работает кондиционер. Ломался он, как нарочно, постоянно. И всегда мастер обещал приехать и починить, но приходилось ждать. Запарка – во всех смыслах. На то она и столица, что у всех хроническая запарка.

В такой духоте каждые полчаса бегать на перекур – вроде бы как отдых, а на самом деле – испытание. Почти спорт, если бы не вред. Лифта в старом здании нет, так что нужно спуститься с третьего этажа, отравиться дымом на солнышке под гул моторов, колёс и сирен, а после – изнурительный подъём по крутой лестнице. Лицо красное, вернёшься, пьёшь воду из кулера – отдышаться не можешь.

На каждом таком подъёме я зарекался, что уеду в

отпуск, и начнётся новая жизнь. Свободная от массы излишеств, все они на букву «с». От суеты, скандалов, сожалений, сплетен, сослуживцев... хоть записывай, а то забудешь. И самое главное на эту букву, с чем пора распрощаться, – сигареты.

Избавление от них, проклятых. Недаром ещё в старину, когда только завезли этот американский лопух, бородатые деды тогда изрекли: табак проклят! Я в этом несколько не сомневаюсь, но и отвязаться от него не могу.

«Отженись от меня, пока не поздно, брат никотин!» – повторяю за Борисом Гребенщиковым, творчество которого очень люблю. Сажу за монитором и слушаю его песни в наушниках.

Пластыри, жвачки, леденцы, «умные» книжки про «лёгкий способ», – ничто не помогло. Единственное, во что я верил: в смену обстановки, в отдых и природу. Они мне помогут хотя бы в том, чтобы попытаться бросить. Продержаться хоть сколько-то. Отказ от сигарет всегда казался мне чем-то вроде боя, точнее, осады. Вот твой маленький форпост, крепость, стены в нём – твоя уверенность, чем сильнее желание бороться, тем они выше. И вот на тебя насаждают, давят так, что уши в трубочку сворачиваются, и с каждой минутой всё сильнее и сильнее, а ты мучаешься и ждёшь момента, когда враг прорвётся, и ты поднимешь белый флаг. Щёлкнешь зажигалкой, затянешься, почувствуешь шум в голове, тяжесть в ногах, учащаются дыхание и пульс. Тебе сразу легче.

И тебе стыдно, ведь опять сдался, проиграл.

Всё должно поменяться, ведь я нашёл, как сменить обстановку! Шаг, может быть, и необдуманый, а значит, глупый, без оценки того, что будет дальше. В общем, я купил половину старого домика в такой глуши, что и представить трудно! Я родился в Москве, никогда её практически

не покидал, но родилось желание хоть на время уехать и увидеть Россию, так сказать, ведь столица к ней уже никакого отношения не имеет.

В Россию, которую я совсем не знаю.

А началось вот с чего. У моего коллеги над рабочим столом висела карта страны, и мы после очередного перекура загадали: куда я вслепую ткну пальцем, там и куплю себе какую-нибудь избушку, чтобы уехать в отпуск.

– Может, просто снимешь? – спросил он.

– А ты думаешь, там так можно? Думаю, нет. Да и недорого, я уверен, там жильё стоит.

В итоге получился спор на определённую сумму. Я выиграю, если выполню все условия.

Друг – его зовут Кирюха, предвкушал, как я уйду в Северный полюс, Камчатку или в непролазную сибирскую тайгу, и, согласно пари, буду вынужден туда поехать, но... мой «перст судьбы» ткнулся в Тамбовскую область, причём в дальний её пограничный краешек. Места эти на карте были окрашены зелёным, а названия посёлков вообще нельзя было назвать русскими. Хомутляй, Подоскляй, Вежляй, Шерляй – да сколько их там таких...

Мой коллега-приятель набрал в поисковике и выдал:

– Похоже, все эти окончания «ляй» – мордовские. Означают река, или ручей.

– Подожди, а что, Тамбов – это Мордовия, что ли? – я, честно, не знал.

Он тоже растерялся:

– Вроде бы нет. Но кто её, Россию нашу, знает.

– А мордва – они темнокожие? – продолжал я. Друг всё искал в интернете:

– Вроде бы нет, пишут – финно-угорский народ.

– А причём тут финны? Где Финляндия, и где Тамбов? – продолжал я.

– Отстань с этой ерундой, не знаю я. Всё, Миш, давай работать уже!

Но я-то уже работать и думать забыл! Есть ли судьба, провидение, или нет, не знаю, но «перст судьбы» снова вёл меня, когда на сайте объявлений я довольно быстро нашёл предложение о продаже половины дома в посёлке с непривычным названием – кордон Жужляйский. Такое не забудешь. Так и представляется – песчаная дорога, потемневшие срубы домов и бань, и перед лесом – десятки ульев. Жужляй. Пчелиное что-то есть. Тут я буду ловить рыбу, собирать грибы, поищу землянику, иван-чай, что ещё...

А главное – брошу курить. Попросту не возьму с собой сигареты. Переломаюсь.

...И вот он – отпуск. Давно я его не брал! С учётом этого и других заслуг дали несколько недель. Недолгие сборы, и – в путь, навстречу радостному безумию моего первого путешествия вглубь Родины-матушки.

Добраться до Тамбова из Москвы – всего одна ночь в поезде. Иное дело – найти этот загадочный кордон. С железнодорожного вокзала добрался сначала на «Новый», потом на «Старый» автовокзал Тамбова – оба они показались мне одинаково старыми, пока не разобрался наконец, откуда мне держать путь. Там я попытался узнать у местных, как доехать до нужного мне места. Одни говорили, что нужно попасть в город Моршанск, другие – в райцентр Пичаево. Автобус на Моршанск только отошёл, а ждать не хотелось. Поэтому я решил – была не была, и в дымящем жутком автобусе-«ПАЗике» (я думал, на таких сейчас только хоронят) трясся часа полтора до Пичаево. Тянуло поговорить, спросить, что значит Пичаево – явно же название нерусское, мордовское, скорее всего. Но, глядя на лица потных усталых попутчиков, я знал заранее, что им – не до краеведения, и вряд ли они мой интерес хоть как-то разделяют. Из того,

что я успел прочесть в интернете, понял, что никто здесь себя мордвой не считает уже пару добрых сотен лет, если не больше.

В райцентре пришлось пару часов искать водителя-частника, готового меня сопроводить до этого самого Жужляя. Всё оказалось не так просто – из-за недавних дождей ехать никто не хотел. Наконец мне снова повезло – местные «языки» сказали, что туда скоро поедет некий Шурик на «пирожке» – он каждую неделю провозит в этот, и некоторые соседние лесные посёлки продукты.

– Магазинов там отродясь не было, – сказал мне местный мужичок, и попросил денег на поход в магазин, светивший красными и белыми огоньками витрин. Он ещё добавил, что Пичаево – развитый современный посёлок, ведь там есть сетевые магазины!

Я быстро разыскал этого Шурика, и он даже обрадовался, что поедет не один. Было ему не более двадцати лет, и, похоже, он боялся всего: лесов, и дорог, и особенно того, что подведёт его выдавший виды «пирожок» – допотопный «Москвич» с большим кузовом.

– Медведь на нас не выбежит? – спросил я, держась за ручку.

– Всё может быть, – ответил Шурик без иронии. – Косули даже перебегают, зайцы, лисы уж совсем страх потеряли. Раньше, говорят, лису увидеть – событие, уж больно она хитрая и осторожная. А тут обнаглела совсем!

Мне хотелось спросить что-нибудь про тамбовского волка, о котором я слышал, но ничего не знал. Не стал из мистического страха. Казалось, он здесь – подлинный хозяин, помяни, и появится во главе стаи. И тут уж нас съедят вместе с этим полным всякой еды «пирожком».

После часа тряски по мокрым песчаным дорогам он высадил меня, сказав, что в Жужляй ему нужно будет по-

пасть только на обратном пути, и указал путь.

В общем, после долгих странствий я нашёл посёлок, центральную улицу, и купил почти за бесценок половину домика с одной-единственной комнатой. Причём, как оказалось, в другой половине постоянно проживает хозяйка – баба Надя. Получается, что волей-неволей у меня появился тут и «свой человек».

Впрочем, на кордоне и людей-то оказалось не так много, а молодёжи – так и нет вовсе.

Баба Надя – тётка весёлая, говорливая, бегает утром по двору с ведром, корову доит, скотина у неё. Всякая живность, особенно куры, и по «моей половине» тоже ходят. Хотя эта «половина» выходит на поросший крапивой старый сад, но мне это даже и нравится.

Всё моё хозяйство – панцирная кровать, стол да шкаф. Впрочем, почти с первых ночей я стал спать в саду, надувая привезённый с собой матрас. Засыпал, глядя на звёзды сквозь ветви яблонь. Не раз под утро мне казалось, будто кто-то бродит рядом, шаркает сапогами по влажным лопухам, и бормочет, бормочет что-то. Я не придавал значения, думая, что это только кажется во сне, но, заглянув на утро к бабе Наде, рассказал об этом.

Она поморщилась, перекрестилась:

– Да это он опять, Шиндяй-анчихрист бродит! Я его пыталась отвадить от себя, и никак!

Я ничего не понял.

– Да есть у нас тут мужик один вредный, колдун. Вот и шастает везде, особенно мой сад любит, – я заметил, что с покупкой половины дома за хозяина меня она не считала, а относилась как к временному и чудному гостю. И потому всё по-прежнему называла и считала своим. – Шиндяй-то, не знаю, то ли корешки свои да травы выискивает, то ли богам камлает, кто его, шута, разберёт?.. Да сам леший к нему

в гости ходит! Только стемнеет, так они как засядут, так до третьих петухов в карты и режутся! Только вместо карт у них листья осиновые – прямо с той самой осины, на которой когда-то Иуда удавился! И вместо карточных мастей зверюжки морды и змеи намалёваны, чёрные и красные.

Я даже и не понимал – то ли баба Надя шутит, не может же современный человек верить в подобную чушь? Но говорила-то вроде бы серьёзно, да ещё полушёпотом, с оглядкой, будто бы этот злостный колдун всё на свете мог слышать, явиться тут же и наказать:

– Так вот и играют! А вот, бывает, иду под утро в лес по грибы, вижу – то в одну сторону белки, или иной какой мелкий зверь бежит, то в другую. Знаешь, от чего так?

Я пожал плечами, мне было неловко всё это слушать:

– У них с лешаком-то ставки в игре какие – на зверей! Вот раз один выиграл – к нему и бегут, другой – стало быть, к другому хозяину оборотятся. Карточные долги такие у них.

Так я впервые услышал о Шиндяе.

Я не понимал, что значит это имя? Да и имя ли это вообще, или фамилия, а может, прозвище? Только различал схожесть во всех этих словах опять – Жужляй, Шиндяй. Вроде бы живут вокруг меня обычные люди, говорят по-русски, как я, лишь с понятным говорком и каким-то нажимом в произношении буквы «г», да и только... но было здесь что-то интересное, загадочное, о чём я надеялся в будущем узнать.

Ведь именно ради этого – нового и неизведанного, я решился впервые так далеко уехать от Москвы...

Никак не вернусь к тому, о чём начал. О куреве. А всё потому, что мне стыдно, и потому так хочется уйти от темы. Ведь с табаком я так и не расстался. Уже в поезде, пока ехал, не мог уснуть – меня буквально ломало, как наркомана.

Но на утро стало легче, я перетерпел. Но душный автобус до райцентра, говорливые бабки меня взбесили так (хотя я понимаю, что меня в состоянии табачной отмены могло бесить что угодно), что уже на вокзале в Пичаево я купил пачку сигарет.

Затянулся, расписавшись в бессилии. То главное, что хотел поменять, так и не смог. Я курил, и в тот момент, когда брёл к посёлку, слушая, как удаляется неровный шум мотора «пирожка»... Но в остальном моя жизнь потекла совсем не по-московски, размеренно. Безуспешно пытался поймать хоть какую-нибудь мелкую рыбёшку в местной быстротечной речушке, иногда собирал какие-то грибы, показывая их соседке – я не умел различать съедобные и ядовитые... но больше бродил без всякого дела по окрестностям.

Глубоко старался не заходить, понимая, что можно заблудиться так, что на дорогу выйдешь голодный и оборванный спустя несколько дней где-нибудь в Рязанской или Пензенской области. И то, если повезёт найти дорогу.

Но однажды во время прогулки что-то пошло не так, и я понял, что не могу узнать место, где оказался. Словно лешаки, о которых говорила баба Надя, реально бывают! То есть, я вдруг понял, что не знаю даже примерно, в какую из сторон мне идти? Смартфон показывал полное отсутствие сети и связи со спутниками, компаса у меня с собой не было, да если бы и был, я толком не знаю, как по нему ориентироваться. Ничего с собой. Разве что сигареты.

Я присел на поваленное дерево и стал курить одну за одной. Старался сосредоточиться, вспоминая что-то из школьной программы про мох, муравейники, которые бывают всегда то ли на юге, то ли на севере, и понимал, что влип, и паника всё больше охватывала меня.

От отчаяния закрыл глаза и подумал: «А может быть, я сплю! Сейчас вот открою глаза снова, и этого не окажется!»

Я буду на кордоне в домике, или в саду, а лучше вообще в Москве! И зачем только придумал всё это?»

И тогда слышались шаги. Шаги и бормотание. Точно такие же, что я слышал в саду под утро, когда спал. Но обычно они были в отдалении, а теперь приближались. Сердце забилося – от волнения, что я вот-вот встречу с колдуном, о котором так много рассказывала соседка, но больше от радости – каким бы человеком ни был этот Шиндяй, он местный, а значит, с ним я точно не пропаду.

Да, это он шёл ко мне – невысокий человек за пятьдесят, в зелёных резиновых сапогах, штанах-трико и потрепанной клетчатой рубаше. На голове – мятая кепка со сломанным козырьком. Нет, не таким я его представлял! Думалось, что Шиндяй носит какой-нибудь причудливый мордовский костюм, хотя я и не знал даже примерно, как тот выглядит. Он мне виделся стариком с широкой бородой и длинными волосами, с берестяным опояском на лбу. Может даже, с филином на плече.

Но таинственный колдун выглядел самым обычным деревенским мужичком. Я не сомневался, что это именно он. Было в его лице, взгляде что-то колкое, недоброжелательное. Он шагал, закинув ручку плетёной корзины на плечо и опираясь на разлапистую палку. На меня он взглянул проходя, с прищуром. Я подумал: если не окликну, то он и вовсе пройдет мимо!

Что мне оставалось? Я потушил окурок, поднялся и поздоровался.

Тот замедлил шаг, прислушался – он, казалось, не обращал внимания на меня, а будто хотел что-то узнать, прочесть в тишине леса. Даже подумалось: а, может, он вообще слепой? Но затем он посмотрел на меня строго и внимательно, будто всё видел насквозь!

Так смотрят с презрением на слабовольного. На сла-

бака! На человека, который не хозяин своему слову, эмоциям, поступкам.

Я покраснел, ведь это точно относилось ко мне, к моим чахлым попыткам бороться с зависимостью.

Он подошёл близко, поковырялся палкой, достал кончиком из песка смятый, но ещё тлеющий окурочок.

– Нет, не жди, здороваться не буду, – сказал он, сев на корточки. Я посмотрел на его спину. – Здороваться – это что, здоровья желать, верно? – он обернулся. – А как тебе желать того, что ты сам себе не хочешь? Бесу кадишь!

Последней фразы я не понял, но опустил глаза. Мне захотелось оправдаться, точнее, рассказать, объяснить, как и что. В четырнадцать лет я впервые взял сигарету – друг курил, я и решил тоже попробовать. И так иногда стал с ним за компанию дымить. Редко, от случая к случаю, но потом всё чаще! Пришёл день, и я спросил у него сигарету, чтобы потом закурить одному. А после – уже стал покупать их, разбираться в марках, умничать, другим что-то советовать. Но я не делал выбора становиться курильщиком, я не хотел попадать в эту ловушку! Я хотел курить только тогда, когда сам захочу, а не когда меня всего аж трясёт от неконтролируемой табачной жажды... Я не знал тогда вообще, что это ловушка, как-то само собой получилось в неё угодить! Не сразу, не вдруг, но я понял, что просто и не вырваться. Можно попробовать рвануть на волю, но от этого узлы только туже становятся!

– Ничего не говори, я-то всё знаю. И о чём думаешь, тоже. Это, выходит, ты и есть тот московский? – спросил он, и притом как-то мягче, немного ласковей, если можно так сказать. – А меня Шиндяем прозвали, наверняка слышал, Надька-дура – язык без костей, наверняка с три короба про меня наговорила тебе плохого? Так?

– Ну, что вы – колдун.

– Не вы, а ты. Обращайся на ты. Вы – это так с тьмой говорят. Иду на вы, стало быть, иду на тьму, в старину говорили, если ты не знал.

Он помолчал:

– Всё бросить не можешь никак? Хотя стараешься?

И откуда он мог знать?

– Да. Так хочется, но перестанешь только курить, ломает всего! Ни о чём, кроме сигарет, думать не могу. Сдамся, закурю, вроде как облегчение.

– И стыдно...

– Да, – я опустил глаза.

– Тебя как звать?

– Михаил.

– Так вот, Миша, тебе на самом деле не хочется курить. Никогда не хотелось, вообще. И потому никогда не захочется, – он смотрел на меня с ухмылкой, видя, что я ничего не понимаю. – Но ответь – ты хочешь оставить каждое бесовское?

Я кивнул.

– Я так понял, что ты и дорогу тут потерял? Эх. Значит так, пойдёшь прямо, – он указал чёрным от сбора грибов пальцем, – шагов через триста будет перекрёсток, там ещё колючки растут на углу. Так вот, выйди на перекрёсток, встань посередине, достань эти свои сигареты, положи на углу и скажи: «Оставляю тебе курево, проклятое на перекрёстке! Приходи и бери, коль надо, а мне больше без надобности!» И всё, иди прямо, только не оборачивайся! Как сделаешь, ты больше не куришь.

– И всё? Так просто?

– И всё. Скорее всего, даже и не захочется. Сам удивишься, как легко на душе станет, как пересечёшь перекрёсток, и ему сигареты оставишь.

– Кому – ему?

– Ему, тому самому, кому они нужны, кто тебя курить заставляет снова и снова. Бесу. У бесовской силы своя иерархия, звания, виды, есть и табачные бесы. Они простые, примитивные, похожи на червя ленточного, как его, солитёра. Ему бы только сосать и сосать никотин, а как перестает поступать, он аж вгрызается в нутро.

– Но раз так, а вдруг опять начнёт тянуть, ломать? Если я захочу?

– Ты не хотел и не хочешь, сам же сказал! – его голос стал резок. – Когда тебя всего крутит-вертит от жажды табачной, то не твоя жажда, а его. Бесова. Не ты первый, не ты последний. Сигареты нужны ему! И коль придёт к тебе бес, закрутит тебе уши, хочешь про себя, а хочешь вслух ответь ему: «Уходи, я оставил твои сигареты на перекрёстке. Они ждут тебя там! Иди себе от меня!» И так эту мысль повторяй и повторяй спокойно и твёрдо, и увидишь, что он побесится вокруг тебя – на то он и бес, и непременно отступит, уйдёт искать свой табак туда, где ты ему и указал. Может он и опять вернуться, и не раз, и долго докучать, и не отступать, но ты ему отвечай, как и раньше. Мол, уходи, я оставил твои сигареты там. Понял? Сколько бы он ни клянчил, знай, рано или поздно он отступит. Обозлится, конечно, само собой, но и до этого он тебе добра не желал. У любого беса одна цель – сгубить человека. Он может других бесов привести, пострашней себя, чтобы тебя пошатнуть, так что уж старайся жить по-доброму.

– А что если эти сигареты кто-нибудь поднимет? У меня же тут почти полная пачка!

Шиндяй вздохнул:

– Эх, московские... Здесь никто не поднимает, если только какой дурень заезжий, а таких и не бывает. Люди ещё в старину знали, что на перекрёстке вообще ничего подбирать нельзя, даже в руки брать. Сидеть на нём нельзя,

есть, спать тем более. Перекрёсток – место особое, переходное во всех смыслах, открытый путь во все концы, в видимые и невидимые стороны. Так что, если кто твои сигареты возьмёт, тебе от этого будет ещё легче. Твой бес к другому уйдёт, будет добивать глупца с особой силой. Но это уж не твоя боль-забота.

Я крепко задумался и молчал. Шиндяй, уходя, сказал:

– За перекрёстком иди прямо, потом места узнаешь, как выйти к кордону. И больше не забредай так, раз ты птица нездешняя и к тому же домашняя. А то смотри: она к дурачкам добрая, но ведь в другой раз поймает и защекочет! С хозяйкой шутки плохи!

– Кто – она? – я отвлёкся от мыслей, понимая, что потерял связь в его словах.

– Как кто? Вирь-ава, наша хозяйка леса. Я тебе о ней потом расскажу, как свидимся ещё. Бывай, московский.

Я ничего не понял, но улыбнулся на прощание. Солнце шло к закату, и казалось, что стволы вековых сосен темнели. Шиндяй ушёл левее, песок осыпался под сапогами, и скоро он скрылся за косогором.

На ходу я достал пачку. Захотелось её смять, но подумал – не стану, ведь она больше не моя, чужая, и я скоро оставлю её на перекрёстке.

Да, вон он, виднеется впереди. И правда, колючки растут на углу, густые, как трон для восседающего здесь нечистого. Тишина вокруг какая-то зловещая, будто вся округа смотрит на меня со всех сторон. И Вирь-ава, хозяйка эта лесная упомянутая, тоже. Я уже верил во всё это. Во всяком случае, знал, что, совершив ритуал, пройду дальше и вернусь на кордон другим человеком. Таким, каким и хотел стать, уезжая из Москвы.

...Там я, как научил Шиндяй, и оставил сигареты.

Положил, посмотрел на пачку в последний раз совсем без сожаления. И правда, сразу стало как-то легко, спокойно.

Я понял, что стану новым человеком, которому Шиндэй при встрече не откажет пожелать здоровья. И мы поздороваемся, а потом я обязательно узнаю больше про этого таинственного колдуна тамбовских лесов.

Отпуск в самом начале, времени ещё много.

По ту сторону великой воды

Летом всякий кустик ночевать пустит. Так говорит баба Надя, видя, что мне не очень-то нравится спать в моей половине дома, и каждый вечер я выношу надувной матрас, ищу место в саду среди старых разлапистых яблонь.

Что говорить, жильё, которое я купил здесь, в посёлке под названием Жужляйский кордон в Тамбовской области, было не ахти какое. Впрочем, что я мог требовать, ведь хозяйка права – она уступила мне половину в избушке «по цене дров». Ох, раз сто она мне уже именно так и сказала, а на лице читалось: «А ты чего ж хотел, каких хором ждал, московский?»

Я постепенно начал знакомиться с местными жителями, о которых обязательно расскажу. Скажу лишь, что никто из них ко мне не обращался по имени, а называли по-разному и одинаково одновременно: «столичный», «москвич», «залётный». Интерес я вызывал неподдельный, но осторожный. Новый человек здесь и правда был, как событие.

Я прожил тут уже три дня, но ко мне по-прежнему присматривались, не понимая, что за диковинная птица, зачем здесь, и надолго ли? Многие, как я понял, завидовали

бабе Наде, потому что продать в этой глуши половину дома даже «по цене дров» – штука сложная. Я обратил внимание, как много хороших домов, сложенных из сосновых брёвен, стояли здесь угрюмые, пустые, с заколоченными крест-накрест окнами. Ещё больше было домишек сутулых, кривых, продавленные временем крыши которых едва виднелись в зарослях.

В моей половине, видимо, долго никто не жил – подробностей у хозяйки я пока не расспрашивал. Внутри было неуютно, словно в сарае. Днём – душно, а под утро, наоборот, можно озябнуть до пробивной дрожи, хотя июньские ночи здесь тёплые.

Хозяин из меня, конечно, никакой, поэтому о том, чтобы навести порядок и хоть немного придать уюта, я как-то и не задумывался. Да и к тому же лежать в саду, положив руки под голову и глядя сквозь листву, как на небе загораются звёзды, – что может быть лучше? В Москве почти и не видно звёзд. Из разговоров я знал, что вдали от цивилизации звёзды намного ярче, но я не думал, что настолько!

Недалеко от моего домика – овраг, внизу которого протекает извилистая речушка, которую местные так и называют – Жужляйка. Что означает «ляй» я давно понял – ручей, а вот «жуж» – никто этого понятия из обихода мордвы-мокши объяснить мне не мог. Считали себя местные мордвой? Похоже, что нет, хотя вопросов о национальной принадлежности я стеснялся – в Москве говорить на такие темы давно стало неприличным.

Среди моих скромных пожитков, которые я взял с собой из столицы, была и складная удочка. В Жужляйке я и пытался поймать хоть что-то на мякиш хлеба. Какая-то мелочёвка всё время дёргала крючок, снимала насадку, но подсечь и хотя бы взглянуть на мелкого хвостатого мошеника мне так и не удавалось. Меня это не смущало, и я си-

дел у воды, несколько раз купался в холодной даже в такую жару речке.

Солнце было ещё высоко – июньскому дню конца нет. Я решил полежать в саду в теньке, может быть, и поспать. Становилось немного скучновато, точнее, непривычно от такого размеренного ритма жизни. Я машинально доставал телефон, хотел что-нибудь посмотреть в интернете, но тот грузился очень вяло. Да и сотовой связи почти не было. Нужно забраться повыше, чтобы позвонить. Ничего не остаётся: только ходи, дыши, думай, созерцай, и ничего более.

Я до конца не понимал, нравится мне, или нет, такой необычный ход времени. В любом случае, мой отпуск заканчивается только к началу июля, так что я или привыкну, или сбегу в Москву раньше. Друг, с которым мы вместе работаем, невольный «соучастник» моего случайного выбора места для поездки в российскую глубинку, помню, сказал после того, как я вслепую ткнул в карту России: «Веди блог, лучше в видео-формате, и выкладывай постепенно. Будет много подписчиков, денег заработаешь кучу».

Куда там! Интернет загрузку ролика не вытянет и за сутки, да и в такую жару вообще ничего не хочется делать, даже просто писать, выражать мысли. Да их попросту нет, и это самое главное. И это хорошо.

Так думал я, лёжа отмахиваясь от комаров. Летала и жалила на Жужляйском кордоне, похоже, всякая тварь, оправдывая название. Писк комаров нарушил новый звук – уже знакомое шуршание сапог по траве. Уже понял, что это Шиндйя бродит по саду, но он бывал обычно по утрам. Я привстал, опираясь на локоть, и окликнул его:

– Что орёшь на всю округу. Не в лесу! – пошутил он.

– Думал, ты это, не ты.

Он посмотрел на меня:

– Курить тянет?

– Да как сказать. Нет, вроде бы, – сам не знал, вру, или нет.

– Ну, тогда здравствуй, добр молодец, – он протянул руку. Я всё ещё полулежал, и вскрикнул, когда он резко поднял меня на ноги. Вес у меня около восьмидесяти килограмм, так что удивился, откуда столько крепкой и спокойной силы в этом сухом и жилистом товарище.

– Да я, собственно, за тобой. На рыбалку пойдёшь? – спросил он. – А то смотрю, мне тебя аж жалко стало. Ты, как пень, сидишь у Жужляйки, и чего только, думаю, он там высматривает? Там отродясь кроме тритонов да лягушек ничего не водилось. Ладно, что болтать языком зря. Захвати лопату у хозяйки, а склянка у меня с собой.

Мы шли копать червей к забору – там была, как сказал Шиндяй, специальная куча.

– Сидишь, говорю, как пень, – повторил по дороге он. – А вот знаешь ли о том, что человек вообще сделан из пня? Нет? Дело было в старину. Ходил бог по земле, захотелось ему воды напиться, вот он пенёк и увидел. Без рук, без ног, само собой. Попросил его воды принести, а тот и говорит, мол, как? погоди, тут копай! – он снял крышку со стеклянной банки, насыпал на дно навоза, при этом помяв его в ладонях, чтобы стал мягким, рассыпчатым. – Пень тот тридцать лет без дела простоял. А богу-то пить охота, и он велел пню встать. Тот зашевелился, выросли у него вдруг руки да ноги, глаза вылупил, побежал поить создателя. Так вот и первый человек появился, – он расправил спину. – Вот говорят, мол, от обезьяны. Чепуха. Из пня. Пеньки мы все и есть, так и живём, никто меня не переубедит. Сам к людям приглядишь. Хоть с руками-ногами, а живут и ведут себя, как самые что ни на есть пеньки дубовые. Кстати, в старину хоронили людей тоже на пнях, были целые кладбища лесные, особенные, их жгли и разоряли во время крещения

мордвы. Но это отдельная история, потом, может, расскажу.

– Это что же, мордовская легенда? – наконец-то у меня возник повод заговорить об этом. Я лишь слегка копнул, и из навоза показались лиловые хвостики юрких червей. Потревоженные, они быстро стремились удрать поглубже. Шиндяй присел на корточки, и держал в ладони банку, словно священный сосуд. – Я всё голову ломаю: Тамбовская область – не Мордовия, эта республика по карте отсюда ещё километров пятьсот на восток. А названия всё-таки тут причудливые. Да вот и тебя зовут..

– В самой Мордовии живёт лишь треть от народа, который называют мордвой, а границы намного шире республики. Вообще есть целая территория финно-угорского мира – от Урала до самого Балтийского моря. А меня зовут не Шиндяй, а Виктор Петрович Шиндин, – ответил он. – Погоняло моё, само собой, от фамилии происходит, хотя она, как ты понимаешь, мордовская, – он огляделся. – Никто уж тут давным-давно мордвой себя не считает, просто всё перемешалось, как в одном котле. Но многое и сохранилось, потом поймёшь, а то и увидишь. А так здесь до прихода русских жил испокон веков именно этот удивительный народ. Мордва Поценья.

– Что значит – Поценья?

– Значит, по Цне, по реке жили. Ну, это как Поволжье, Подонье, чего ещё там бывает? Правда, никогда этот народ себя мордвой не называл, а звали сами себя мокша. Что значит мордва, спорят даже сами историки, по одной из версий, происходит от иранского «мардь», что значит «мужчина», или «мурдь», что значит «воин». Не разбери, в общем, как уж на самом деле. На Тамбовщине мало вообще кто об истории задумывается, но я вот просто интересуюсь, читаю, ищу. И историю про то, что Шкай сделал человека из пня, я, само собой, в книжке вычитал. Хотя б тебе, конечно,

следовало бы наврать с три короба, что передалось мне знание от предков. Но не буду.

– Кто сделал, какой такой Шкай?

– Да, так зовут верховного бога-создателя. Он же Оцю Шкай – великий бог, Вярде Шкай – высший бог, по-разному называли. У мордвы две народности, мокша и эрзя. Про вторую я почти ничего не знаю, меньше интересовался. Эрзя тут и не жила, а туда, уже к Мордовии дальше. У них немного по-другому всё, в смысле, имена богов, язык отличается. Но в целом у мокши и эрзи всё родственно, как у эстонцев и финнов, например. А все вместе – финно-угорские народы, которые, как говорю, от Урала до Балтики живут.

Я слушал, удивляясь. До этого мне казалось, что Шиндяй – обычный полуграмотный мужик из глубинки, и если и есть у него какие знания, то больше от жизненного опыта, общения с природой. А получалось, что читал и знал он, скорее всего, больше меня.

– Значит, мордва – коренное население Тамбовской области?

– Да, можно сказать так, но с оговоркой – лесной её части. В этих краях да, испокон веков жила мордва, а в степи – уже другие народности, степняки, ногайцы. Русские пришли сюда не так уж и давно, а Тамбов – это крепость русского государства на границе страны. Да, тут граница была, хотя поверить сложно. Это уж потом Русь-матушка от моря до моря растянулась, но прежде этого русские шли и шли по землям – мордвы, чувашей, марийцев, кого ещё там – эвенков, якутов, чукчей, ненцев и так далее до самых льдов. Вот так, московский.

– А обязательно меня так называть?

– Не обижайся. Уж так у нас в глубинке принято. Дадут прозвище, от него до старости не отстанешь, будет за

тобой ходить, как тень. У тебя-то ещё не обидное, простое. А так у нас тут есть гореч-пасечник Ну-ну – он всё время эту присказку говорит, так и пошло за ним. На соседнем кордоне Фаза есть – электрик, есть Центнер – это толстый такой, на краю живёт, дачник, неприветливый мужик, но ещё не приехал что-то. Бабки тут – Парфёниха, Трындычиха, Харланка, есть Салманиха – одна на Пчеляевском кордоне кукует который год... опять же есть старик Пиндя, нахальник, как-нибудь познакомлю. Ацетон-пьяница жил – помер недавно, Вихранок тоже от этого на Красную горку убежал... У нас тут без уличного погоняла никак, Московский.

Он поднялся:

– Надо бы поспешить. Июньский день хоть и долог, да не вечен. А нам ещё до реки идти. Кстати, Цна река называется, наша главная тут водная артерия, через всю область тянется. Не бывал ещё на ней?

Я покачал головой.

– Многое упустил. Самая красивая река в мире, и чистая. Пошли, сначала ко мне заглянем.

Мы шли по песчаной центральной дороге.

– А в Цне много рыбы, поймает что? – спросил я, думая, что здесь, наверное, водятся настоящие непуганные «крокодилы». Я захватил рюкзак, там была моя складная удочка, крючки, грузила и другие снасти. И, самое главное, фляжка с хорошим коньяком, который я предполагал по прибытию на реку отхлебнуть сам, и угостить Шиндю, чтобы ещё крепче упрочнить нашу дружбу.

– Рыба в Цне, конечно, есть, и разная. В старину говорят, даже в самом Тамбове ловили стерлядку, осетров здоровых, а уж тут я даже предположить не могу, сколько рыбы и дичи всякой водилось. Но теперь уж другое дело, иные времена, – он поправил кепку со сломанным посередине козырьком. Он не снимал её никогда, даже в самую

жару. – Поймаем что, нет, какая разница? – продолжал он. – Это у вас там, может, в Москве, все с новомодными удочками сидят, и только ждут, когда же целый мешок натаскают. А мы тут по-другому думаем. В рыбалке весь смысл вообще не в добыче, а, – он на миг остановился, посмотрел на меня, и зашагал снова, – в самой возможности поймать, вот. Не знаю, поймёшь, нет. Именно вот сама эта возможность мне спать спокойно не даёт. Мечта поимки.

– А правда, что сорвавшаяся хорошая рыба всегда помнится больше, чем пойманная?

– Ещё бы, вот у меня случай на днях был, – и всю дорогу до дома Шиндяй рассказывал мне рыбацкие байки. Я не знал, насколько близки эти истории к правде, но сердце билось всё чаще. А вдруг и мне сегодня вечером попадётся крупная рыба, леска натянется со звоном, и я её – нет-нет, всё-таки вытащу! И моя история обязательно закончится не так грустно, как у Шиндяя. Никаких обидных сходов! Закончится она ароматным, запечённым в саду на углях ужином из впервые добытого настоящего рыболовного трофея! Я даже запнулся о корень, что торчал из земли прямо посередине дороги. Замечтался...

– Смотри, не грохнись, у меня тут это запросто, лучше жди здесь! – сказал мой спутник. Я сначала и не понял, что мы пришли. Шиндяй жил на окраине. Дальше кустов можжевельника я не пошёл, хотя мне было интересно подойти ближе. Что ж, в другой раз, время наверняка будет. Пока ждал, мысленно представлял, каким должно быть жильё человека, которого все местные почитают за колдуна? Наверняка висят там по стенам вырезанные из дерева звериные морды и мордовские идолища. Невольно засмеялся от каламбура.

Шиндяй гремел чем-то, и вскоре показался с ведром, железным садком и двумя бамбуковыми удочками:

– Будешь на мою снасть ловить, а этой своей покупной хворостинкой лучше лягушек в Жужляйке гоняй, на другое она и не годится, – пошутил он. – Ну что, пошли к великой нашей воде!

Вечерами я иногда смотрел карту – она загружалась постепенно и при плохом интернете. Так вот, в некотором отдалении от кордона протекала река Цна – извилистая, местами довольно широкая, с заводами и затонами, где, как мне представлялось, было много-много рыбы. Места ведь лесные, почти что девственные. Но пойти туда одному я пока не решался.

Шиндяй относился к рыбалке как к таинству. Он не произнёс вслух, но я понял, что добраться до места лова мы должны незаметно. Чтобы никто из местных нас не встретил, не проводил «дурным глазом», не пожелал «ни пуха, ни пера» или чего-то такого же дурацкого. В общем, повёл меня Шиндяй окольными путями, и я чертыхался, когда задевал головой ветку, или внезапно проваливался ногой в канаву.

– Тшш! – мой спутник подносил палец к губам и смотрел строго. Истинный заговорщик.

К реке мы вышли внезапно – по берегу рос высокий «корабельный» лес, который обрывался высоким яром. Мы скатились вниз по крутой песочной насыпи, и в камышах я не сразу увидел длинную деревянную лодку. Почему-то подумалось, что на такой рыбачат индейцы. Шиндяй загрел цепью, положил аккуратно снасти и жестом приказал мне садиться. Я едва удержал равновесие – Шиндяй и опомниться мне не дал, он тотчас оттолкнулся резиновым сапогом от берега, и нас отнесло.

– Ловко, – только и сказал я.

– Ты хоть плавать умеешь, московский?

– Ещё бы. Я в бассейн хожу.

– Ааа. Но это тебе не поможет, – он засмеялся, а я

неволью побледнел. – Ладно, шучу. Давай, налегай на вёсла, ты сегодня у меня будешь как раб на галерах. Далекое пойдём, воон туда! Не оборачивайся, греби!

Сосновый хвойный запах смешался с прохладой воды, тяжёлым духом тины, пряным ароматом цветов. Хотелось дышать полной грудью, но не получалось – таким плотным казался воздух. Я немного ошалел с непривычки – всё-таки ничего подобного я раньше никогда не видел и не ощущал:

– Какая же красота! – я поднял глаза и посмотрел на небо. Солнце уже не жгло так, как недавно, но плыть на закат оно, кажется, и вовсе не собиралось. Июньский день почти бесконечен, и в этом его сила. Со дна шли небольшие пузыри, и я подумал, что это роятся мордами рыбы в поисках корма. Тут их наверняка очень много.

– Не болтай лишнего! – прохрипел Шиндяй, хотя я не произнёс ничего, кроме короткого восторга. Он жестом приказал сильнее давить на правое весло, и лодка стала заходить в один из поросших кувшинками затонов. Там не было течения, и похожие на большие лапы листья недвижно лежали на воде.

– Здесь будем, – прошептав, он опустил в воду привязанный к верёвке гладкий речной камень. Каждое его движение было спокойным, хотя и чувствовалось некоторое напряжение. Мне казалось, что Шиндюю не терпится поскорее забросить удочки. – Давай совсем тихо, я тут утром прикармливал.

И мы насадили упругих, извивающихся червей, закинули сделанные из гусиного пера поплавки. Удочка Шиндяя была для меня непривычная, бамбуковая и намного тяжелее современных, и я, последовав его примеру, воткнул её в специальную выемку.

Тишина. Мы ждём. Минуты бегут одна за одной, и только в такой момент будто и правда слышишь этот неспешный бег времени! Никому не нужна суета. Её выдумали глупые люди для того, чтобы истязать себя и других. А я вырвался, убежал. Вот так. Как поётся в песне у Андрея Макаревича: «Я не знал, что уйти будет легко!» Хотя и ненадолго, но смог же! И дышал, дышал теперь полной грудью! Жаль только, не клевало.

Шиндю, видимо, надоело молчать, и он стал нарушать свои же запреты. Заговорил тихо:

– Ты там у себя-то, в Москве-реке, наверное и не рыбачишь?

– Да что там... рыбу трёхголовую ловить только. Загадили совсем Москву-реку.

– Да и здесь тоже не то, что раньше бывало, – он достал снасть, поплевал на червя. На жизнь и здоровье обитателя навозной кучи, похоже, пока никто из водных обитателей так и не покусился. – Я вот одну книгу люблю читать, Леонида Сабанеева, о рыбалке. Он при царе-батюшке рыбу удил. И славно удил. Зачитаешься, как раньше хорошо и интересно было, не то, что теперь. Сейчас человек много зла сделал, как специально, чтобы реки опустели.

– Я, честно, вообще никакой не рыба, – признался я. – Но всегда думал, что рыба в этом деле – вообще не главное.

– Ну, это так и есть. Я ж говорю, смысл не в добыче, а в самой возможности поймать. Но и ещё вот что. Сколько бы рыбалок ни было, сколько зорь ни встречай у реки, никогда одна похожа на другую не будут. А всё почему, – он помолчал. Его поплавок всё время еле-еле «плясал» на воде, кто-то его то протапливал, то оставлял в покое. Шиндю смотрел, почти не моргая, но руку на удочке не держал. – Этот смысл открывается далеко не всем. Не все могут по-

нять, что в природе не бывает ни запретов, ни ограничений. Полная свобода. И потому никогда ничего неизвестно, что будет дальше. И даже если повезёт, поймаешь хорошую рыбу, то потом будешь не её долго вспоминать, а как ждал, надеялся и верил. Во. Красиво загнул, да?

Вдруг поплавок Шиндяя уверенно пошёл в сторону и утонул, скрывшись за большим и сочным стеблем кувшинки.

Шиндяй подсёк, и удочка согнулась в дугу, я смотрел не на воду, а на его напряжённую руку, на которой напряглись мышцы так, что натянулась кожа и стали видны кости. Но борьба кончилась так же быстро, как и началась:

– Эх ты, етиху в корень! – сплюнул он. Наверное, пожалел, что выругался, и добавил спокойно и разумно. – Вот, паря, и самого опытного постигает неудача!

Он достал удочку – леска повисла в воздухе без крючка и грузила. – Как говорится, взяла – тяни, а сорвалась – не спрашивай. Вот так. Ты из города леску не привёз случайно?

Я кивнул.

– Вот, есть хорошие новости. А моя старая, «Клинская», времена перестройки ещё помнит.

– Кто это сорвался?

– Судя по всему, линь. Я видел, как блеснуло что-то зеленовато-жёлтое, да и по поклёвке, по всему это он. А мучил-то как, полчаса теребил, никаких нервов не хватит.

Я дал Шиндяю катушку японской лески. Он долго рассматривал её – не верил, наверное, что такая тонкая может быть крепкой. Не раз попробовал её на растяжение. Мне казалось, что вот-вот и у меня случится заветная поклёвка, и уж я-то не упущу момент, справлюсь! Покажу, что не хуже! Поимка хорошей рыбы представлялась мне не просто победой. Так и видел перед глазами недоумение на лице Шиндяя, когда я поймаю!

– Смотри, Шкай зажигает свечу! – сказал Шиндяй, и я поднял глаза.

Такого заката видеть ещё не приходилось!

Нужно быть мастером слова, чтобы это передать, а я не умею. Солнце – невероятно-большое и впервые такое близкое, шло к закату. Красный полукруг уже наполовину утонул в воде и купался, окуная бока. Солнце отражалось на ровной глади, по которой бегали жуки-плавунцы. – Предки верили, что закат – это свеча в руках бога. Так, наверное, и есть. Красиво ведь, да?

Шиндяй вовсе и не расстроился, что упустил рыбу:

– Сколько восходов и закатов встретил, а таких, цнинских, нигде не бывает! Даже красиво говорить тянет, стихами, хотя слагать не умею.

– Пробуй писать, может, и получится.

– Да я раньше бывало... а сейчас вот случается, интересные такие, необычные строчки сами собой на ум приходят, и откуда только? На рыбалке мысли, как пчёлы, без толку роятся в голове, а потом как сложатся, что сам диву даёшься. Вот, например: «Восход – как свадьба, лишь мгновенье»... А хочу продолжить, и не выходит. Не идёт, зараза такая, только ненароком рождается у меня что-то. Или – «Проснусь я днесь, и не увижу». А что не увижу – опять не знаю.

Он ловко связал поводок, вернул мне леску, я убрал в рюкзак, и вспомнил, нащупав железную фляжку.

– Будешь? – протянул Шиндяю.

– Что там такое? – он поморщился, мечтательность слетела с лица.

– Да коньячок хороший. Правда, очень хороший, в Москве брал в дорогом магазине. Марочный, в звёздах весь.

– В звёздах только небо бывает. Знаешь, мы вот с тобой про курево говорили. Был у меня один знакомец, так

тот тоже рассказывал всё про сорта табака, и такой, и сякой, и тёмный, и золотой, и пряный. А по мне это как навоз – по-светлее или покрепче, одна вонь. Так и здесь. Марочный яд, не марочный.

– Совсем не пьёшь? – спросил я с небольшим огорчением. Мне подумалось, что, если Шиндяй немного пригубит, то станет что-то рассказывать особенное. Я отхлебнул. Странно, ожидал, что на губах появится жжение с ароматом дуба, горечью хвои, что-то такое изысканное, а отдало лишь неприятно спиртом, захотелось сплунуть. Шиндяй, видимо, умел перебить настрой. Как есть – колдун.

– Чья бы корова мычала, моя бы – молчала, я тебе не вправе ничего говорить. Уж кто-то, а я – точно. Но, Миша, я бы тебе не советовал, – его слова меня пробрали. Есть что-то магическое в том, когда к тебе обращаются по имени, будто переходят какую-то черту и уже говорят напрямик в душу. – Ты ещё молодой, сколько тебе?

– Двадцать восемь.

– Да, совсем ещё пацан. И понять пока, слава богу, не успел, какая хитрая и опасная штука у тебя сейчас в руках. Бес в бутылке не такой туповатый нытик, как табак. Тот по сравнению с ним комар надоедливый.

– Ты пил раньше?

Он усмехнулся:

– Да уж, было дело. Был грех, – он забросил удочку и замолчал. Я подумал, что тема для него тяжёлая, и он не станет говорить дальше. Однако он продолжил:

– Главное, я не сразу стал понимать... если бы можно было всё исправить, повернуть вспять, я бы только одно изменил – не стал бы пить. Только одно! И знаешь, почему бы я у себя молодого стакан из рук выбил? Вот так грубо, решительно и без слов? Крепко так, наглухо бы ударил! А потому, что ничего больше исправлять и не пришлось –

всё остальное само собой встало на место. Не без изъянов, не без трудностей, но пошло бы правильно. Потому что... пьяница живёт не своей жизнью. Ему другая даётся, не его вовсе. Тяжкая. Пьянство – тяжкий труд, который отнимает все силы, средства, всё, что у тебя есть. Мотор в груди работает на полную катушку, проснуться и пойти на работу – как подвиг. Но за всё это никакой награды, одна расплата. И тоска смертная. А это – ещё и не самое страшное, уж поверь мне, Миша.

Солнце уже почти опустилось, догорало медленно, неспешно. Тени от прибрежных кустов стали заметно гуще, а воздух впервые за день – прохладнее, яснее, легче. Его хотелось не вдыхать, а пить. Я впервые понял, что, если бы курил, не сумел бы ощутить, уловить этого тонкого перехода. А вот пить из фляжки вовсе не тянуло, и я положил её поглубже в рюкзак. Казалось, она в чём-то даже виновата.

– Может, расскажешь тогда, или сменим тему?

Шиндйй вздохнул. Скрестил пальцы в замок, и смотрел уже не на поплавки, а на догорающий закат:

– Да что тут особенного рассказать? Моя история обыденная. Попробовал выпивку рано, ещё в профтехучилище, потом был перерыв, когда служил в армии. Эх, мне бы ясную голову тогда сохранить, а я нет, глупый был. Начал так, с разгона и в горку вниз покатился. Быстро, с растущей скоростью. Даже когда женился, сын родился, казалось бы, прислушайся к совести, остановись, ведь на тебе теперь такой хомут висит, тянуть надо. Нет же! Чаше, тяжелей, и больше. Мы тогда в Тамбове жили. Я вообще из простых рабочих, хотя всю жизнь самообразованием занимаюсь, много книг прочёл, поэтому многие думают даже, что я из этих, из интеллигенции, вроде как учитель школьный. Нет, работал на заводе фрезеровщиком, а после смены выпить – святое дело. Мы даже с охранником на проходной договаривались.

Ночью, как смена кончается, купить негде, так мы с собой заранее приносили, у него оставляли, чтоб потом бахнуть, и домой навеселе. Сначала по стакану, а потом, не сразу, не вдруг, уже чекунь надо выкушать, иначе как губы помазал, одно расстройство. Затем уж вторую чекунь дома надо иметь, чтобы за ужином. После она как-то собой переросла в бутылку. В общем, – он помолчал. – Всё шло вроде бы ничего, хотя именно тогда надо было во все колокола бить. Случаи стали происходить нехорошие, словно мне кто-то сверху, с неба на голову капал, мол, остановись, дурак, пока не поздно! А я и не думал прислушиваться. Я тогда и не верил вовсе, что есть что-то высшее. Силы, которые за нами наблюдают, оценивая каждый шаг, не знал, что потом за всё спросится. Знать надо, что тебе невидимые силы – не враги, а помочь хотят, только ты эти знаки в упор не видишь. Неладное с работой началось. И, как это бывает, компания сложилась. А когда не один тонешь, то вроде бы, как все, и не страшно. Даже кто помрёт от этого дела, хоронили, поминали, а на ум не приходило, что это и тебя так может с волной накрыть скоро. С кем-то случится, но не со мной, считал. Это они пьют, а я меру знаю. Дружки-то только подначивают – давай, давай, ты что, не с нами? У нас почему-то так принято. Отказываешься – будто не то что их, саму Россию продаёшь. Искривляет бухло ум и душу до безобразия, и уродливое предстаёт чуть ли не в святом облике. Так что я от дружков-то не отставал. А то, что дома проблемы, жена в слезах, сынишка от тебя, от шатающегося и вонючего, как от прокажённого бежит, это ничего. Ты же мужик, ты зарабатываешь, ты устаёшь. Тебе расслабиться, отдохнуть надо, имеешь право! А кто не понимает – пусть заткнётся и не мешает. Отстаньте, мол, все от меня!

Шиндяй сглотнул:

– А ведь я, дурак, сам так и думал, самого себя обма-

нывал. И жил не своей жизнью будто, как и сказал тебе. Муторно, гадко на душе, а всё равно не останавливаешься. Уже и нет никаких тормозов, если раньше ещё и были. Говорят, у пьяниц силы воли нет. Есть, и ещё какая! Только в том, чтобы бесу, в бутылке живущему, исправно служить. Это какая же воля должна быть, чтобы встать, пойти, найти, выпить, упасть, обделаться. Тогда же и мысли о смерти пошли, причём о смерти как о чём-то очевидном, неизбежном. И даже радостном. Не станет меня, и легче. А все вокруг поймут, расплачутся, кого потеряли-то! Себя жалел вот так, превозносил. Я-то хороший весь такой, просто из добра весь сшит, виноваты судьба, жизнь, обстоятельства. Вздёрнусь вот сейчас – и сразу поймуут! А я хоть на том свете отдохну, в раю-то. Это уж потом мне один священник сказал, что пьяницы уже прямо на этом свете себе место в аду купили. Вернее, прописку там оформили. Готовое жильё «со всеми удобствами» там их ждёт. Ты только пойми и представь всё это! У меня сынишка подрастает, ручки ко мне тянет, играть хочет, а я раскис, как студень на жаре, воняю. Вот он, как его, весь гротеск. Только потом понял, что все эти мысли о смерти – они не мои были вовсе. Враг меня толкал в спину, финала хотел побыстрее. Да бог вразумил. Бог, он, видимо, есть. Уж не знаю, какой. Или как в церкви говорят, или как в старину мордовские предки представляли, только – есть. Выбрался я тогда из очередного запоя, мысли едва в кучу собрал, смотрю на календарь, представляя, сколько дней «там», на дне бутылки, провёл, и не сразу, но понимаю, что день рождения у жены.

Он помолчал. Я слушал, не шевелясь:

– Я пошёл, а Маша – на кухне. Сидит, руки опустила. Смотрю – а у неё в глазах такая боль! Я никогда такой боли раньше не видел! И понимаю, только доходит, что это из-за меня, я виноват! Встал я тогда перед ней на колени,

что-то проямлил. Она не смотрит. Понимаю, что говорить про день рождения – всё равно, что издеваться над ней. Но, как смог, сказал: «Прости, столько зла тебе принёс. Больше – всё. И это не клятва, а больше. Я дарю тебе на день рождения трезвость. И будет она навсегда».

– Поверила? – спросил я.

– Ну, как сказать. Конечно, не воссияла и в объятья мне не кинулась от радости, – грустно продолжал он. – Хоть по лицу не дала, и то хорошо, хотя право имела. Где тогда, в то время поверить хотя бы одному моему слову! Кто слову алкаша верит? Я и сам бы себе не поверил. Стемнело, помню, вот и весь праздничек. Меня потом долго трясло, то в жар, то в холод, жажда, видения, сон пропал, уснуть вообще толком три дня не мог, выпить хотелось аж до боли, но перетерпел отходняк. Белые мухи перед глазами летали – терпел!

– Я так понимаю, слово ты сдержал?

– Да, хотя всё не так просто. Думаешь, мне стакан водки сейчас выпить не хочется? Хочется! Вот ты... ты мне эту фитюльку железную протянул, знаешь, как старый бес быстро на плечо вскочил и запел: «Давай, уже можно! Столько времени прошло, ты здоровый, нормальный, можешь по чуть-чуть, глоточек можно!» и начал триаду мне в ухо, пока я его мысленно не прищёпнул!

– Извини.

– Ничего. Прошло уж столько лет! Тогда я был в узловой точке, и если и могу что хорошее про себя сказать, так то, что я её прошёл, выйдя вверх. Постепенно всё стало налаживаться: работа, семья, но и расплата всё равно потом ко мне постучалась. Ничего просто так не проходит. Один эпизод, самый тёмный, пока пропущу... Сыну восемнадцать только было, когда он шагнул на мою дорожку. Нет ничего хуже видеть, как сынок твой только взрослеть начал, а уже пропадает! Какая же это боль! Вспоминаешь, как

у него первые зубки проклюнулись, как первые шаги делал, как маленькие ручонки к тебе протягивал, радовался подаркам. Как первый раз с тобой рыбу поймал. А теперь глаза вон стеклянные! В общем, об этом вообще не хочу, не сейчас. Потом, может... Вот видишь, Миша, что бывает, никто к такому прийти не хочет, а приходят! Но способ бросить пить навсегда, как у меня, действенный! Подарить кому-то, самому тебе дорогому, трезвость! Кто бы я был, если хоть ещё раз выпил? Выходит, подарок жене обратно забрал, что ли? Не, ну козлы полные бывают, но не я... Да я бы себя уважать перестал! Так что я Машу не предал, и не предаю, хотя её нет.

– Умерла?

– Да, сердце. Сколько можно мучиться-то, не железная. Когда со мной тёмная штука одна случилась, она не выдержала. Не на моих глазах она только вот умерла, меня не было... Это я её так ушатал, а сынок потом и добил. Вот так. Есть в её уходе раннем, не в срок, моя вина, грех, и мне отвечать. Сына я так и не смог вытащить, живёт, если ещё живёт, конечно, в нашей квартире в Тамбове, в притон её превратил. А я вот, сюда уехал, на родину предков, так сказать. То ли уехал, да то ли сбежал. Не, я пытался его вытащить, к врачам водил, но... А всё из-за чего? Теперь понял цену глоткам?

Над рекой, над лесом взошла луна – так долго мы говорили, наверное, больше часа...

– Я вот верить в Бога стал, по-своему как-то, может, коряво, но начал, – Шиндяй только теперь поднял груз – речной камень. – Честно скажу, не обижайся только, я тебя с собой на рыбалку взял, чтобы, может, и выговориться. Мне тут совсем не с кем. Не могу каждый вечер вот так, как надавит на грудь, на горло что... А посмотрю на небо, и думаю, что она, Маша, там, по ту сторону великой воды, как

древние мокшане говорили. Она там. И видит меня оттуда.

– Красиво так они тот свет называли – по ту сторону великой воды, – сказал я. Шиндяй стал грести, я опустил ладонь в воду и смотрел, как в отражении слегка играет лунный свет.

– Мне почему-то кажется, что древние люди, что жили тут, по берегам Цны, почитали эту реку, воду за святыню. Когда стоишь на одном берегу, другой же видишь. И жизнь – как река. Те, кто ушёл, значит, её переплыл, и смотрит теперь на нас оттуда. Ждут. Тоскуют, а сказать, передать весточку не могут, хотя и хотят, даже кричат, зовут одуматься, но ничего не слышно, – он помолчал. – И небо тоже, как река. Мордва-мокша верила в творца-бога, который создал небо и землю.

– И человека из пня...

– Тоже, да. А всё потому, что ему было скучно в огромном пустом пространстве, которое он, Шкай, создал. Вечером он зажигает свечу в виде заката, а когда она догорает, он плавает в каменной лодке по небу – видишь луну? Это он! Мокшане верили, что луна – это лодка бога. Плывёт теперь Шкай, свечи-звёзды зажигает, одну за другой, и ему теплей и веселее.

– Но это же какая-то сказка...

– Может, и сказка. Но насколько лучше, как представишь. И легче жить со сказкой-то, если она добрая. Да, и Маша там где-то, – он приложил ладонь к глазам и присмотрелся. – За рекой, за луной и солнцем, за небом, у самых звёзд она. Где-то там меня ждёт, непутёвого. Вот так жизнь прожита, словно сухостоя по лесу наломано, не вернуться и не переступить. А ты думай, Миша. У тебя ведь всё ещё впереди.

– Знаешь, Шиндяй, скажу честно, можно?

– Валяй, – мы уже подгребали к берегу.

– Спасибо, что взял с собой. Я, кажется, многое начинаю понимать, и у тебя учиться.

– Чему? Мы ж ничего не поймали.

– Ты понимаешь, о чём я.

– И то верно. Ладно, давай уж не до слюней, а то я тоже что-то сегодня раскис, тебе лишнего наговорил. Давай причаливать.

– Знаешь, а я верю.

– Чему, то есть... во что?

– Всеми, что ты рассказал, – ответил я. – И знаешь... Ты вот постоянно в саду, где я живу, бываешь. Особенно по утрам. Зачем?

– О, это тайна великая!

– Может, расскажешь?

– Как-нибудь.

– Тогда давай сегодня посидим там, картошки в углях испечём.

– А Надька не прогонит? Я ж колдун злобный!

– Так это мой сад, я ж купил! Это, по цене дров!

Шиндяй засмеялся.

– Ладно, только рыбки из дома захвачу. Я же утром поймал. Запечём с тобой, и поболтаем. Может, и про тайну сада что тебе скажу.

Я посмотрел на небо. Шкай продолжать плыть в каменной лодке и зажигать звёзды. Они горели необыкновенно ясно и грустно, будто уставшие женские глаза.

Укравший дождь

Прошло уже несколько дней, как я – сам до конца не понимая, как это всё так удачно сложилось – оказался жителем лесного посёлка в глубине России. Иногда казалось, что всей этой авантюры не могло быть, и вот-вот я проснусь

в Москве в своей маленькой, похожей на тёплую конуру квартире на восьмом этаже, потянусь, встану у окна, и посмотрю сквозь прозрачные занавески на серое унылое небо и однотипные высотки. И пойму, что ничего не было, – всё только сон. Ни поездки, ни странной и спонтанной покупки половины домика, ни новых знакомств.

Но я продрал глаза, и привстал с надувного матраса в саду. Моё скромное лежбище прошлым утром поскрипывало от росы и было мокрым, а теперь – вот, странно, сухим... Я вспоминал ночной разговор с Шиндьяем.

После рыбалки мы встретились в саду – не сразу, он пришёл только после того, как в другой половине дома у бабы Нади погас свет:

– А то разгонит нас ещё, етить её колотить! – сказал он. Я возразил, сказав, что на своей половине могу делать, что хочу, и приглашать кого угодно, а он только посмеялся. Видимо, не он один относился к тому, что я стал владельцем части дома, с иронией. Да и был ли я хозяином – ведь только отдал по моим меркам скромную сумму, никаких бумаг мы и не оформляли. В любом случае я понял мысль Шиндья: баба Надя, если захочет, выгонит Шиндья из сада, и на меня даже и не посмотрит.

Он принёс, как и обещал, утренний улов, – с десяток средненьких плотвичек, и мы запекли их с картошкой на углях. Шиндьяй набрал ведро воды – аккуратно пролил вокруг костровища, и сходил ещё за одним, оставив полное подле огня.

– Самое опасное сейчас в лесу – пожар, – объяснил он, – Чуть что, вспыхнет так, что и опомниться не успеешь! Такое зарево поднимется, что в твоей Москве с небоскрёбов заметят. Тут у нас есть чему гореть.

Он осмотрелся, и я подумал, что Шиндьяй говорит о конкретном месте, где мы были:

– Сам удивляюсь, что это – сад в лесу, или лес в саду?
– спросил я. – Вроде бы яблони растут, а тут и рябины, и вон сосна.

– Да, вырастить хорошее фруктовое дерево тут – задача сложная, – сказал Шиндяй. – Это всё отец Нади, Виктор Максимыч. Легендарная личность. Он главным лесничим трудился, фронтовик. Дом вот сам построил, с пристройкой. То есть, сарай с окном примастерил, это где ты теперь обитаешь.

– Выходит, это я сарай купил, что ли?

– Как хочешь называй. По цене дров купил, говоришь, обижаться не на что. Вы, господа, поди ж в Москве обедаете за такие деньги! А сруб у Нади добротный, может, самый лучший в посёлке домишко. Тебе же, как для дачи так самое то, удачная покупка! Это всё внучка её, она в Воронеже сейчас живёт и учится. Она приезжала, и посоветовала бабке, мол, давай объявление в интернете дадим, всё равно тебе эта сарай-пристройка не нужна, не используется. Может, дурачка какого найдём – купит, – он посмеялся, глядя на меня. – А ведь быстро нашли, а мы думали, никто в такие дали даже из Тамбова не поедет. А тебя вон откуда занесло! Наде и твои деньги – хорошая прибавка к пенсии, подмога, мы тут по-другому деньгу-то измеряем, своим аршином. Да ты не бери в голову, всё хорошо будет, пока в Жужляе худо-бедно теплится жизнь. А перемерём мы все, тогда уж никакого догляда не будет... Так я о чём?

– Про сад мы начали.

– Да, точно. Так вот, Виктор Максимыч, фронтовик с тяжёлым ранением, был мичуринцем. Знаешь, кто такие?

– Наверное, кто родом из этого, из Мичуринска, есть вроде бы у вас такой городок, на карте видел.

– Балда ты, вроде-навроде, Сергей Мавроди, тьфу его, не к ночи будь помянут, – он поворошил угли. – Мичу-

ринцы – это целое движение такое было. Сейчас вот тоже у молодёжи движения всякие – панки-дуранты, скинхеды или секунд-хенды какие-то, чем вычурнее и глупее, тем лучше. Одни волосы красят, в пупки серьги вставляют, татуировки на ляжках бьют, или ещё что. А раньше мичуринцы по всей стране были! С лозунгом: не ждать милостей от природы, а самим их брать. Виктор Максимыч журналы выписывал – я их все прибрал, храню, а то Надя бы их на растопку пустила. А там обо всём расписано: какие сорта Мичурин вывел, как прививать деревья. Вот, видишь яблоню? Это в июне-месяце не поймёшь, а так к сентябрю ясно станет, она и зелёными, и красными яблоками заиграет. На одном дереве, понимаешь! Сама яблоня эта – дичка, дикая то есть, самосев. А он три сорта выписал и привил сразу на один ствол. За подвоем пешком ходил вёрст тридцать в оба конца, а ведь инвалид! То-то – какие люди раньше были! Нет уж человека, а дела его видны, значит, не зря пожил. И не только для себя, и не только у дома. Ты по округе прогуляйся да присмотрись хорошенько: яблони, груши, целые посадки черноплодки. Ели даже, туи, прочее, чего у нас в природе особо не водится. То там, то тут. Это всё память о нём, его детки с ветками.

Мы сидели у потухшего костра плечом к плечу, и было в словах Шиндяя что-то близкое и незнакомое одновременно. Я жил тут всего ничего, но чувствовал, что мы с каждым днём становились всё ближе. И был уверен, что в Москве буду вспоминать эти дни как самый яркий момент последних лет, а может быть, и всей жизни, как бы громко это ни звучало. Никогда я не видел таких мест, такого неба, не вдыхал подобного воздуха, и ни с кем мне так хорошо не дышалось, не говорилось раньше, как с Шиндяем.

Я только теперь понял, что в огромной Москве, где живут миллионы, у меня не было друзей!

– Будь осторожнее, – перебил мои мысли Шиндяй.

– Я про огонь. Это не шутки, знаешь ли, – он посмотрел на небо. – Если никак не повлиять на природу-матушку, предстоит долгая засуха.

– Это почему?

– Приметы знать надо, – он покряхтел, и ещё раз пролил из ведра вокруг костровища – вода ушла в землю, будто и не бывала. – Мы когда по реке плавали, ты, наверное, и не обратил внимания, сколько стрекоз разлеталось? А это не просто так. Надя тоже жаловалась, краем уха слышал, что оводьё её корову искусило всю, спасу нет. И на небо глянь – видишь, луна будто зеленоватая? Самый верный признак грядущей засухи! И пятка у меня всё время зудит – это уж точно, сушь донимает.

Я рассмеялся.

– Зря хохочешь. Моя пятка – лучше барометра. Только вот мне, может, удар придётся скоро держать.

– Ты о чём?

– Увидишь. Давай лучше на боковую, поздно уже.

– Ты же обещал рассказать о тайне этого сада!

– Да что там, – он прислушался к стрекоту насекомых. – Долго рассказывать. Это уж в другой раз, а то и до утра времени не хватит. Тайна великая тут, тайна!

И вот я проснулся, вспоминая, как Шиндяй залил угли, и, внимательно присмотревшись, потушил носком сапога последние тёмно-красные искорки. Потом я умылся в бочке, и пошёл, покачиваясь, к бабе Наде – почти каждое утро я брал у неё молоко. В первый день предложил денег – обиделась, но мы условились, что за молоко буду выполнять её поручения по хозяйству.

– Миша, как хорошо! – она вешала бельё на веревку, растянутую между стволами деревьев. – Сегодня Шурик из райцентра должен приехать, к конторе лесничества. Знаешь ведь где? Да и не ошибёшься! В центре посёлка, там и та-

бличка висит, две ели высоченные ещё, они у нас тут одни такие, голубые, любимицы моего отца были. Магазин-то у нас давно закрыт, невыгодно никому его содержать, так что продукты нам Шурик и возит. Купи, значит, – она ушла в дом, вернулась с банкой молока. – У меня что-то и записать негде. У тебя есть?

Я достал из кармана телефон:

– Вот как у вас всё просто-то, у городских! Ну, значит, пиши...

Через пару минут я уже шагал с выданной мне старой советской авоськой по широкой песчаной дороге в сторону центра посёлка. Контору лесничества и высокие ели я видел раньше, просто не обращал внимания. Рядом со входом стоял выдавший виды «пирожок» – тот самый, на котором я добирался сюда из райцентра, у открытых задних дверей толпились люди, но их никто не обслуживал. Ещё трое склонились у капота, я подошёл. Фары старого «москвича» смотрели безжизненно и как-то грустно, словно бы машина вопрошала, когда же её, наконец, перестанут гонять по разбитым дорогам и отправят на покой?

Я поздоровался.

– А я тебе говорю – хана патрубку! Это из него так хлещет этот, розовый, как его антишлюз, или анти... В общем, доездили, Шурик! – говорил один бодрый старичок.

– Да иди ты, причём здесь, – Шиндяй склонился над капотом, трико приспутились, я видел оголённую поясницу и зад. Было в этом что-то комичное, хотя водителю Шурику – он стоял за ним, было не до смеха.

– Я тебе говорю! Знаешь, сколько у меня таких машин было! – не унимался всё старик с высоким, как у святого на иконах, лбом, жидкой бородкой. Одет он был не по погоде тепло. Заметив меня, он смотрел с головы до ног и присвистнул. – А, это и есть наш московский гость! Надо же, какой орёл к нам залетел!

Старик протянул мне испачканную в липкой машинной жидкости ладонь. Я нехотя пожал и не знал, обо что вытеретьь.

– Пётр Дмитриевич, – представился он.

Шурик на меня даже и не посмотрел. Видимо, не узнал, забыл, что мы знакомы, да и неважно. Я как-то сразу прочёл его мысли: машина сломана, до ближайшей асфальтовой дороги пара десятков километров, а он ни черта не понимает в ремонте.

– Это хорошо, что мы встретились, я и сам всё хотел забежать, так сказать, познакомиться, – не унывал старик, продолжая рассматривать меня, словно картинку. – Столько вопросов накопилось! Хоть и телевизор смотрим цветной, а ничего ж непонятно, что в мире происходит! А ты, московский парень, не из России, считай, Москва давно – не Россия. И, раз уж перешёл линию фронта, мы тебя с пристрастием допросим! Вот хоть умный человек появился, кто может всё, так сказать, прояснить! Вот скажи мне, как тебя...

– Михаил, – нехотя ответил я.

– Миша, а это правда, что в Москве уже педерастов в церкви венчают?

Шиндяй будто чем-то поперхнулся и, неудачно разогнувшись, ударился лбом о капот:

– Пиндя, чтоб тебя! – выругался он, при этом смеясь.

– Оставь в покое человека!

– Да я что, я только спросить, интересно ж ведь!

Шиндяй сплюнул, и обратился к Шурику:

– Что уши развесил? Я домой сбегая, есть у меня одна задумка. Заведём мы твой драндулет, дотянешь до райцентра. А нет, – он усмехнулся. – У нас останешься жить, как вон наш московский! У нас тут хорошо! Поженим тебя, у нас невест – хоть отбавляй, все на полном пансионате!

Он кивнул мне:

– Ты Наде за продуктами? Прислала тебя, как посыльного? Ну-ну, растёшь в звании, парень! Ладно, потом сюда вернись, просьба будет небольшая. Шурик! Парня вот этого вне очереди обслужи тогда, он у нас первостатейный тут!

– Ещё чего! Первопрестольный он! – сказал Пиндя, положив руки в карманы. – А мы тут не люди, что ли? Я вот с самого утра здесь, может, стою, первый и буду, значит!

Шурик забрался в кузов «пирожка», выставил большие круглые весы. Я такие видел только на фотографиях о жизни в СССР. Он поманил меня пальцем и прошептал на ухо:

– Сигареты, спиртное имеется, но там, в ногах под сиденьем, если что. Это, сам понимаешь, товар такой сейчас, это, специфический дюже, в открытую не поторгнешь.

Что-то будто бы прожужжало рядом, словно похожий на муху чёртик покружил и сел на плечо. Во рту стало сухо, я представил, что могу вот сейчас взять сигарет, закурить, но вспомнил, как оставил пачку на перекрёстке, и про себя сказал: «Уходи! Твоё курево лежит там, в лесу!» – и чёртик вроде бы и правда отскочил, как от щелчка ногтем по свиному пятаку. Сам удивился – неужели я переборол тягу?

Я быстро отнёс продукты бабе Наде и вернулся, по дороге думая: что же за просьба будет у Шиндяя?

Когда вернулся, мотор «пирожка» хоть и нехотя, и задыхаясь на низких оборотах, но всё ж чихал и ревел.

– Я ж говорил тебе, Шурик-мурик, что он – колдун! – не утихал старик Пётр Дмитрич, и я понял, что прозвище он получил от сокращения имени-отчества. – Его и природа, и техника слушается! Вот дождя нет – это тоже он. Он украл, дождик-то! Признавайся!

Шиндяй не реагировал, хотя по щекам забегали жел-

ваки. Он на что-то давил под капотом, газовал, и мотор каждый раз ревел на оборотах.

Пиндя махнул рукой, и, оглядевшись, сказал Шурику:

– Так что у тебя там, говоришь, есть из припасённого? Курева мне не нать – у самого, знаешь ли, двести корней словной махорочки растёт! Ты такой, поди ж, и не пробовал! – с гордостью сказал он, и, достав кусок газеты, свернул «козью ножку». – У меня старая школа, табак свой – он лучше, слаще, душевнее.

– Двести корней, – усмехнулся Шиндяй. – Ты ещё коноплю посеи. Наркоман, блин.

– А ты не это! Да, я тоже, как упокойник наш Виктор Максимыч, мичуринец, продолжаю славное дело! – он затянулся. – Так, Шурик, давай мне в малых бутылочках эту журавочку. Эх, мне бы сразу одну ноль пять взять – дешевле и проще, да эти патрончики по карманам незаметные, не оттопыривают, как целый снаряд! Так что старая моя на подходе к дому, даст бог, не раскулачит. Нет, не две, а три малька давай, я одним тут причащусь!

– Просьба такая, – сказал Шиндяй, когда Пиндя отошёл и оторвал от ветки зелёную кудряшку ели – видимо, ей и хотел закусить. – Вот тебе пакет со всяким добром, не в службу, а в дружбу, сбегай на поклон к бабке Трындычихе на край посёлка. Надо уважить. Я бы сам, да дельце есть. Она сама не ходит уже толком.

Что ж, заняться мне всё равно было нечем, и я отправился через ручей на другой конец Жужляйского кордона. Шиндяй бегло описал мне её дом, сказав, что не ошибусь – такого уютного резного крылечка нет ни у кого:

– А в целом – как дом бабы Яги, – добавил он. – Увидишь, так и представишь, что вот-вот привстанет куриные лапы размять.

Я поднялся на крылечко – доски предательски скрипнули, словно я шагнул на ненадёжный подвесной мост. Постучал – на массивной двери была трещина, ржавые петли, но ручка отсутствовала. Никто не ответил. Я решил, что бабушка глуховата, и прошёл в темноту избушки. Дом встретил меня прохладой и каким-то застоявшимся запахом – не могу сказать, что неприятным. Так, должно быть, пахнет во многих сельских домах, где живут одинокие старушки.

– Кто там? – раздался голос, и я едва заметил шевеление в углу. Что-то коснулось моей ноги, и я увидел большого чёрного кота. Он тронул меня хвостом и пошёл на голос бабушки, словно приглашая меня войти.

«Не иначе и правда в сказку попал», – подумал я. Сейчас меня отмоют в баньке, и чистенького быстренько переправят на тот свет.

Меня встретила сгорбленная бабушка, укутанная в платок, он был длинный и как-то причудливо завязан сзади крест-накрест.

– Ты откуда такой, милый? С какого учреждения до меня прибыл, не пойму? – спросила она, пытаясь меня рассмотреть.

– Да я от... Виктор Шиндин просил продукты доставить.

– А, Витя. А ты сын его, что ли?

Я невольно покраснел – наверняка Шиндяй делился с ней болью о сыне, стоящем на краю пропасти:

– Нет, я этот... как сказать... дачник. Купил тут.

– А слышала, слышала, всё понятно. Проходи, московский. Ты не смотри, что не прибрано, я убираться как раз собиралась. Я хоть и древняя, но совсем уж древнеть тут у нас нельзя, околеешь. Вот Витя постарался! Спасибо ему от меня передай, – она заглянула в пакет. – Поклон не надо – я, как видишь, и так на старости лет в вечном покло-

не хожу, но мне то и надо за грехи. А Витя, как родной сын, обо мне заботится, все-то забыли, бросили старуху, а у меня сыновей-то, сказать только, пятеро. По городам раскидало. В люди вышли, и то славно. В родной медвежий угол только дорожку позабыли, всё некогда им, но да и не мне судить, много ли я понимаю-то. Молодцы, лишь бы в семьях всё ладно у них было, мне и то радость. А уж помру, как-нить не оставят, думаю, схоронят старуху люди-то. Прикопают... Ну а ты что же стоишь всё, как столбик, садись, чайку попьём! Тут, в пакете-то, печенюшки какие-нибудь, да есть, – она зашуршала, – совсем слепая стала.

Я стал отказываться, но она меня не слышала или не хотела. Всё говорила и говорила, больше себе под нос, не разобрать. Теперь я окончательно понял, что прозвища дают здесь чёткие и по делу:

– всю жизнь тут, всю жизнь, – продолжала бегло говорить Трындычиха. – Ты, небось, и знать не знаешь, какой он, женский труд в лесу! При царе-батюшке крепостное право было, труд лошадиный, а всё равно тогда, сказывают, запрет существовал брать на лесные работы женщин, только при советской власти это пошло. Особенно в войну и после войны, когда мужиков хватать не стало. У нас после войны кто вернулся, и те калеченные, как Виктор Максимыч, наш главный был по лесу, царство ему небесное! А я вот за молодыми посадочками, когда сосенки ещё вот такусенькие, – она показала скрюченными пальцами. – Следила, как за детьми, руками вокруг них всё прореживала. Так и ходила по лесу буквой «г». Оттого и до сей поры разогнуться не могу. Хвастаться не хочу, но я всё ж ветеран лесного труда, почётная лесокulturница! Сейчас я тебе и грамотки мои покажу, вон в шкафчике лежат, все там прибранные!

Мы сели пить жидкий чай, и она всё говорила, говорила. Я подумал даже достать незаметно телефон и вклю-

чить диктофон. В этих местах можно собирать фольклор, а потом публиковать где-нибудь, если это ещё кому-то интересно. Я же вообще филолог по образованию, хотя никогда и не работал, скажем так, по специальности. И в речи Трындычихи было интересно всё, а порой встречались слова, значения которых я и не понимал. Должно быть, что-то местное:

– Я бабка-то колготная, одно слово ж – Трындычиха, – смеялась она. – Это я тебя так до ночи заговорить могу. Да вот только просьба у меня какая будет. Сынок, не откажи уж погреб почистить! Уж лето давно в разгаре, а у меня там... Я Витю просить хотела, да до того неловко, он и так мне и дрова колет, и продукты приносит...

Дело приняло новый оборот. Трындычиха покопалась в шкафу и дала мне на смену какие-то затасканные штаны и куртку, притащила помятое ведро. Я поднял крышку погреба, собрал ладонью паучью сеть – давно, видимо, там никого не было. В погребе пахло затхло и сыро, было прохладно, но терпимо. Стараясь дышать ртом, я доставал проросший картофель, превратившуюся в кисель капусту, гниловатую морковь в тазу с песком. А старуха всё время что-то говорила, я слушал урывками.

Оказалось, она пережила и хорошо помнила военное время, хотя тогда ещё была девчонкой, училась в начальной школе. Чтобы посещать занятия, приходилось ей ходить на лыжах много километров, боясь встречи с волками, которых в те годы развелось много. Об одной такой встрече, когда волк провожал её голодными глазами, но не посмел наброситься, она рассказала красочно:

– Не волк даже, а так, подъярок озлобленный, поджарый такой весь, – говорила она. – У него и силов-то не осталось, видать, моих лыжных палок испужался. А мне лет восемь тогда только и было, вот страху-то! До сих пор быва-

ет, перед сном глаза закрою, а его голодные глазищи на меня и глядят, и глядят!..

Бабушка оказалась крепкой – она принимала у меня из погреба полные вёдра грязных ошмётков, и я смотрел на её руку – сухую, жилистую.

– Зима, значит, сорок первого – сорок второго особенно лютовала, такие морозы трещали, сколько дров в печь не клади – всё одно холодно, – продолжала она. – И вот веришь, нет, касатик, в ту пору всё, что мы сейчас с тобой достаём-выбрасываем, райским богатством бы показалось! Да-да! Помню суп из картофельных очистков, ржаные клёцки по красным дням календаря.

Я не жалел, что согласился помочь. Было в этом что-то особенное, новое для меня. И никогда раньше не было такого чувства удовлетворения – ощущения, что ты и правда кому-то нужен, приносишь пользу. В той жизни, что я на время оставил в Москве, ничего подобного не было и не могло быть. Перевести старушку через улицу я всегда воспринимал как анекдот.

– А Шиндяя не любят здесь? – спросил я, когда выбрался наружу.

– Это ты Витю так называешь? Он же тебе в отцы годится, милый.

– Да мы с ним сразу как-то так, по-свойски.

– Это хорошо, ты его держись, он человек много повидавший, дурного от него не наберёшься. Хотя все иначе скажут, а я вот так! Не знаю, почему к нему многие так плохо относятся, незаслуженно это. Но люди лесные особенные. А что до меня, я к нему по-доброму, и он в ответ ко мне так. Хотя, – она засмеялась. – У нас даже кое-что общее есть. Меня ведь тоже, как и его, за колдунью считают. Вот до чего в народе порой дурость глубоко сидит. Сколько радио и телевизоров ни придумывай! И этих телефонов тоже.

– А вы и правда...

– На ведьму похожа? – она по-струшечьи захихикала. Скрюченная почти ровной буквой «г», ей для полного колорита не хватало только чёрного кота на спине – он, видимо, убрёл по своим делам, не интересуясь суетой у погреба. – А в моём возрасте все бабки ведьмы! Это любой тебе подтвердит! Вот Витя очень стариной интересуется, он мне как-то про мордовских колдуний сказывал, зовутся они содыщи, или содяцы, я уж точно не упомню. Женщины, что исстари тут жили, умели всё: и ворожить, и врачевать травами и заговорами. Только это всё ушло, почитай, безвозвратно. А я будто нутряной памятью от прабабок всё унаследовала. Хотя так вот разобраться, ушло всё иль нет? У нас тут, кстати, коллектив есть небольшой, старушечий уж стал, а раньше, помоложе были, мы и на областных смотрах самостоятельности выступали! В наших тамбовских народных костюмах! Хотя посмотреть на него – в нём почитай всё и мордовское. И песни я тоже всю жизнь собираю, знания разные.

– В общем, колдунья, как и есть, – пошутил я.

– Ещё бы, вон как я тебя обворожила-приворожила, молодца-то заезжего, села на тебя, да уж и езжу, – верещала Трындычиха. – Эх, вот всё ж зря ты у Надьки уголок купил, знать бы, так жил бы у меня! Простору много, и банька даже есть, как муж помер, так и не топится, а я уж так, в корыте обмоюсь разок в годок. Я ж вот-вот помру, и тебе бы дом тогда отписала! Ты переходи-ка лучше ко мне, касатик!

Я вспомнил про её рассказ о сыновьях. Подумал, но, конечно, не сказал – как только её не станет, все они враз слетятся на продажу дома, и, раз делёж хоть какого, а есть имущества, так переругаются ещё. Такова она, правда жизни.

После уборки погреба бабушка мне предлагала пообедать, но я уже искал способа, как выбраться из её ласкового плена. Переоделся, и «на дорожку» она мне насыпала конфет-подушечек в карман.

Провожала, положив голову в платочке на руку и глядя из окна. Картина показалась мне до боли родной, щемлящей.

Я шёл к себе, чувствуя, как от меня пахнет погребом, и думал, не поплескаться ли в Жужляй-ручье, а лучше полноценно искупаться в Цне.

Из зарослей кто-то свистнул. Покачиваясь, на дорогу вышел Пиндя:

– Здорово ещё раз, – сказал он, заплетаясь. – Будешь, у меня тут осталось? – я покачал головой, глядя на отпITYтый пузырьёк. Не знаю, второй приканчивал старик, или уже третий погнал. – Здря. Очень здря! И с Шиндяем ты здря якшаешься. Я вот хожу, с народом общаюсь. Думаем, не должно ему быть тут места! Ты б хоть знал, какие дела он прежде творил, что там! Но, да это ещё полбеды! Это ведь он всё наколдовал, дождик у нас нарочно украл! Из-за него кругом дожди льют, а у нас небо и капли не проронит! Колдуны – они что, я то уж знаю, семьдесят годов прожил, они только на злые дела мастаки! Надобно теперь людей правильно настроить! Если он съедет из посёлка, сразу всё само образуется, это к Трындычихе не ходи! А так – баста, нет больше дождиков, и не будет, покуда он тут злые чары развёл, – он пьяно размахнулся руками и слегка присел, так что трико обвисли на коленях. – Украл дождь Шиндяй! И без того ведь на песке живём, не родится ничего, – он наседавал на букву «о». – Лей, не лей – всё уходит впустую, у меня вон махра вся пожухла. Двести кореней... Ты умный человек, вот и объясни, почему кругом дождь, а у нас...

– Потому что луна зелёная.

– Чего? Смеяться над стариком удумал, это колдун тебя так обучил! Или ты из этих, которые это, нам таких тут не нать!

Я отмахнулся, как от мухи, и пошёл дальше. Настроение немного испортилось.

– А ты не отмахивайся! Ишь ты! Я тебе верно всё об-
сказал! И ты про сваво Шиндя вообще многого не знаешь!

– И не хочу! А как же машина? – спросил я на ходу,
не оборачиваясь.

– Какая ещё машина?

– Ну, сами же сказали, что от колдуна добра не жди,
а Шурику-то кто помог?

– Да теперь разве что молиться надо, чтобы он после
такого ремонту куда не угодил! То-то же!

– Не видел Шиндяя?

– Да на речке твой бездельник, где ж ему ещё быть!
Говорят же умные люди, пришёл июнь – на рыбу плюнь! А
он! Не якшайся ты с ним, ничего путного не выйдет. Так и
знай, московский! – он постоял, покачиваясь. Неуверенны-
ми пальцами пытался свернуть самокрутку из обрывка га-
зеты, махорка коричневой стружкой сыпалась из полиэти-
ленового пакетика за пазуху и на дорогу. – Ладно, почешу до
дому... сдаваться старухе... Последний бой, последний бой,
он трудный самый!

Я ускорил шаг и забыл о пьяном старике. Пошёл
за посёлок дорогой, ведущей к Цне, где мы ловили вчера.
Я уже быстро начинал ориентироваться в окрестностях, и
оказалось, нет ничего такого уж сложного. Мой друг ока-
зался там, но просто сидел в лодке на берегу, глядя куда-то
вдаль.

– Ну как, ты ловишь, нет? – шёпотом спросил я, но
тот не ответил. Я подошёл и посмотрел ему в лицо. Желваки
бегали по скулам, ресницы были чуть влажными. Таким я
не ждал его увидеть. Он, казалось, и не заметил меня, про-
изнёс:

– Всегда хочешь людям, чтобы как лучше, а полу-
чается всё сикось-накось. Может, и правда от меня только
плохое, или так видят со стороны? И как это поменять – не

знаю. Хочется ведь доброе сделать. И я сюда ради этого приехал вообще. Зла натворил, а теперь надо...

Я его слегка обнял, положил руку на плечо, рассматривал выцветшие клетки на рубахе.

– Это от тебя так подземельем тянет? Давай, искупайся прямо здесь, всё равно я ловить не собирался.

Я забрался в воду, нырнул, хотел что-то прокричать Шиндяю, чтобы хоть немного вывести его из грусти, как увидел над соснами в стороне посёлка дым. Шиндяй вскочил – он почувствовал гарь даже раньше, и побежал. Я стремительно выбрался из воды, и, на ходу с трудом натягивая одежду, бросился следом. Когда я нагнал его, он уже успел побывать дома и трусил, слегка сгорбившись, с двумя совковыми лопатами. Одну он бросил мне на ходу.

Без слов я догадался, где пожар. Пиндя сидел прямо на песке и возился в нём, как ребёнок. Сопел, шипел, задыхаясь соплями. Его развезло так, что он мало что понимал. Рядом в окружении людей стояла его жена, закрывая плачущее лицо грязным передником. Крылечко их дома полыхало, языки быстро охватывали дом. Мы бросились к пеклу и стали забрасывать песком. Я будто потерял чувство времени, очумел от бьющего в лицо огня. С трудом, всё время заслоняясь, смотрел на горящий дом, и чудилось, что он вздыхает, хочет осесть под тяжестью пылающих брёвен, словно раненый уставший солдат. Казалось, что вот-вот и на мне вспыхнет одежда, загорятся волосы, во рту быстро пересохло, но я терпел. Под ногами что-то мельтешило, вроде бы с криком бегала живность, бешеные опалённые куры. Чувствовал лишь, что джинсы после того, как я одел их мокрым, неловко облепили ноги, было неловко. Я подбежал к песчаной насыпи у дороги, зачерпывал полную лопату и стремился к горящей избушке. Понимал, что мы ничем не поможем, но от этой мысли только ускорился.

– Чего застыли, черти? – кричал Шиндяй людям – зеваки и правда стояли, будто в театральной немой сцене, не зная, как быть. Пиндя тоже поднял очумелые стеклянные глаза на огонь и неестественно засмеялся. Он всё также по-детски сидел у песчаной дороги, расставив широко ноги.

С рёвом сирен подъехали несколько пожарных машин, а также УАЗик на вездеходных колёсах, из которого выбежал лысоватый мужчина лет пятидесяти в тёмно-зелёной форме с нашивками. Он жестами велел людям быстро отходить, довольно резко и грубо оттолкнул и меня. Через минуту мы стояли с Шиндяем в стороне, облокотившись на лопаты:

– Вовремя успели, можно сказать, проверку на готовность прошли на «пять»! – сказал он. – Смотри, как оперативно ребята взялись, молодцы! Не всё ещё похерили в нашем царстве-государстве. У нас тут пожарно-химическая станция, всё припасено – машины вон с водой, мотопомпы, пожарные рукава, я даже и не знаю, как всё правильно называется. Только у Пинди, ты прогляди, уже и спасать нечего, так занялось!

Я что-то слышал о пироманах – тех, у кого мания поджигать и смотреть на огонь. В эту минуту в чём-то их понимал – такое зрелище может быть наркотиком! Должно быть, в душе просыпается некий первобытный страх, и выплеск адреналина, эмоций и всего остального на высоте. Никогда раньше я не видел пожара, и теперь оторвать глаз просто не мог! Когда пожарные обрушили на огонь всё своё современное вооружение, высокие языки пламени уже плясали повсюду.

– Хорошо, что к лесу не перекинется, там за участком минполоса как раз идёт, – Шиндяй говорил грустно и отстранённо, даже позёывая. – Давай, пойдём, мы уже не нужны, а наблюдать суету не люблю.

Мы дошли до сарая Шиндяя, он убрал лопаты. Сели на поросшие крапивой брёвна:

– От тебя запах теперь прям хороший, рабочий такой – и гнильцой подпола, и гарью пожарища, боевая смесь, – сказал он. Шиндяй долго смотрел на небо, облизывал губы, тёр щетину на впалых щеках, прикладывал ладонь к глазам. – Раз у тебя денёк такой, на ногах, то сбегай-ка ещё разок кабанчиком к Трындычихе. Хотя, она, может, и сама уже смекает, что надо делать. Но ты ей про пожар всё расскажи, и ещё раз передай, мол, я ей поклон передаю. Она поймёт.

– Вы, колдуны лесные, друг друга прям без слов понимаете! Ты ей лучше отсюда тогда мысль пошли, как смску в голову, до неё дойдёт!

– А ты не смейся, чудак. Если бы что срочное, с опасным связанное, я бы так, может, и поступил. Думаешь, не умею? – он прищурился. – А так знай, что сделаешь доброе дело.

Старуха встретила меня улыбкой, и мне показалось, она знает наперёд всё, что скажу. После моего сбивчивого рассказа о пожаре она покачала головой:

– Ой, милый, загоняли мы тебя сегодня совсем! И всё ж тебе надо будет пару-тройку дворов обежать ещё. Анюте, Парфенихе, Куконе – это всё мои девчушки-подружки, считай одногодки, из нашего музыкального коллектива все, весточку от меня передай. Пускай ко мне подтягиваются, скажи, мол, пора пришла нам кланяться! Ну давай, поспешай!

В Москве, работая в офисе, я гордился тем, что у меня непыльная работа. Я, в конце концов, стремился всегда к тому, чтобы не быть «мальчиком на побегушках». К разным офисным распространителям относился если не свысока, то уж с усмешкой точно. Я – не такой, как они, мне платят больше и не за подобную суету. Стабильная сидячая жизнь, можно сказать, почти что корни пустил к полу, и руками,

как ветками, к компьютеру прирос. А тут в лесном уголке стал вдруг посыльным, притом замечал, что люди на меня оглядываются, когда я пробегаю мимо, посмеиваются даже. Но меня это не заботило.

Было впечатление, что весь мой день построен, как компьютерная игра-бродилка, такой вот квест, который я ещё и не знал, как завершится. И ещё ощущал, будто от меня зависит что-то важное. К тому же я узнавал людей, хотя многие из них мне казались на одно лицо. Не удивительно, ведь в посёлке в основном жили пенсионеры.

Стоило мне закончить подворный обход, как появился Шиндяй. Словно колдун, а точнее, джинн – вырос из-под земли.

– Хочешь посмотреть, что дальше будет? Любопытное зрелище, как говорят, эффектное. Только осторожно! Если нас заметят, всё пропало. Ничего не выйдет, и нам с тобой позорище до конца дней.

Я ничего не понял, но двинулся за Шиндяем. Мы шли не главной дорогой, а больше пробивались кустами, минполосой – я только теперь понял, что это такое – специальная противопожарная преграда, глубокий пропаханный ров. Им мы и шли, оставляя следы на рыхлом песке, и пригибаясь, чтобы никто не видел. Впрочем, всем было не до нас – большинство только-только начинало расходиться с пожарища, ещё доносились голоса и споры. Да и запах гари накрепко завис над округой.

Мы направились куда-то в лесную глушь, ещё дальше, чем я забредал в первые дни и где умудрился заблудиться. Теперь-то я точно знал – если Шиндяй меня вздумает тут бросить, я ни за что не найду обратный путь. Взгорки, спуски, молоденькие сосенки, тонкие, какие-то совсем уж сиротские берёзки, болото с похожим на ковёр мхом, перерытая кротами полянка. Всё это менялось перед глазами, но запо-

нить я ничего не мог. Лишь только я пытался что-то спросить, попутчик смотрел строго и подносил палец к губам.

Один раз он всё же поманил меня, решив напомнить:

– Ничего не могу сейчас объяснить, но если они узнают, поймут, что мы здесь, или были тут, житья нам с тобой не будет! Ты можешь верить, можешь нет, но гнев их страшен: сам не поймёшь, как криворуким стал, всё из пальцев будет валиться! С порога упадёшь на ровном месте – убьёшься, да что угодно! Ты, надеюсь, понял, что это не шутки! Ведьмы – они, брат, и есть ведьмы! Как дойдём, не дыши даже, тут воздух копи!

Мы пролезли через заросли – вся моя одежда была усыпана мелкими колючками.

– Так, хорошо, их вроде бы пока нет. Давай туда! – и мы поднялись на косогор, песок проваливался под ногами, когда ползли. Легли в зарослях молоденьких сосенок на тёплый ковёр из иголок, они покалывали грудь при каждом движении.

– Видишь, вон там!

– Да, – ответил я. – Камни там какие-то, что ли? Круглые такие, ровные, выложены кружком по-особому.

– Это родник, священный. Я почти уверен, что тут в древности у мордвы было особое место, где они молились, совершали обряды. А где-то неподалёку и посёлок был, скорее всего, вон там!

– Почему?

– Много шиповника. Он всегда растёт там, где когда-то было жильё. Даже если давно-давно люди жили, сотни лет назад, шиповник здесь показатель, свидетель такой миновавшего. В лесу встретил его, да и просто где – просто знай об этом.

– Тут и могильник может быть, захоронения древние мордовские, с сокровищами.

– Нет, это у тебя в саду.

– Что?

– Тише ты! Не ори! Потом, всё потом!

Я продолжал смотреть в сторону родника и представлять, как давно-давно к нему подходили женщины. Я не знал, как они должны выглядеть, но почему-то представлялись они мне низкорослыми, с крепкими ногами. Широкие такие, словно небольшие бочонки. Ведь не смогут высокие люди жить постоянно в лесу – будут за каждую ветку задевать, неудобно. Думаю, сама природа сделала здешних людей похожими на гномов, вот и мордва наверняка была такой низкорослой. И ещё они представлялись мне какими-то пёстрыми, в украшениях. Ведь в лесу надо сверкать ярко и шуметь, иначе потеряешься быстро. Хотелось спросить у Шиндяя, какими же были мордовские женщины, он же наверняка читал, но не посмел нарушать его установку. Я понятия не имел, зачем он меня сюда привёл, но, глядя на сложенные камушки над родником, думал: вот бы ещё разок попасть сюда одному! Посидеть, послушать тишины. Мне думалось, что в такой тиши сама древность может ожить и заговорить.

И тут нечто подобное и произошло. Издали послышались голоса – тихие, заунывные. Они брали низкие ноты, но затем всё выше и выше, будто плакали:

У нас, братцы, загорелось, ой, красный солнушко,

Эх, ясный сокола гняздо!

– Теперь тише родника и ниже вот этой мелкой сосны будь! – скомандовал Шиндяй. – Иначе: я тебя предупредил! Трындычиха-то добрая, но прознает, познаешь гнев колдуний!

Загорелись у соколика, эй, рёзвый крылашки яго...

И вот на фоне зелени и тёмно-рыжеватых стволов сосен что-то вспыхнуло. Показалось и исчезло вновь. Пение

становилось ближе. Наконец я различил: это шли деревенские старухи в народных костюмах. Такие они были яркие! В подобных одеждах обычно выступают ансамбли, но такого я ещё не видел: преобладали красный и белый цвета, и расшиты разноцветным бисером. Я присмотрелся, главный мотив вышивки – крест в квадрате. Они, бабушки, шелестели длинными юбками. На голове – странные уборы, вовсе не кокошники, другое что-то, волосы полностью скрыты, а над ушами какие-то привески, похожие на маленькие комочки снега.

Женщины выстроились в ряд, молчали. «Красота, – подумал я, – хоть на «Евровидение» за победой отправляй». «Жужляйские бабушки», а что – звучит!





**Елена
ЗАЙЦЕВА**

«Облака рисуют мелом...»

Стихи

Прощальное

Сердце бьётся птичкой в клетке.
Как слеза, прозрачен день.
У ворот качает веткой
Беспризорная сирень.
Постучит рябина в ставень
Рыжей кистью налитой.
Ветхий дом давно оставлен,
Не откроет уж никто.
Журавель скрипучий, древний,
Да безвылазная грязь.
Ты прости меня, деревня, –
Городскую отродясь.
Ты прости меня, чужую,
За непонятую грусть,
И за то, что здесь тоскую
Да уехать снова рвусь.
Погостила – вся забота,
И привычно – вновь домой.

Только сердце отчего-то
Напросилось на постой.
И живёт твоей печалью,
И сиротствует вдали,
Отгороженное далью
От корней, кровей, земли.
Ищет тропку с горькой меткой
В тот почти забытый день,
Где вослед качает веткой
Беспризорная сирень.

* * *

Отчего, скажи на милость, –
Так, что кругом голова, –
Городской девчонке снилась
В росах утренних трава?
Отчего мечталось смело
На простор сменить уют?
...Облака рисуют мелом
Свой таинственный маршрут.
Тишина течёт по венам,
Невозможная почти.
Будто в сказку, падай в сено,
Душу в небо отпусти.

Музыка

Музыка, слышишь? Совсем неумелая.
Клавиша чёрная, клавиша белая.
Как по ступеням – то вверх, то – в падение.
Белое – чёрное, зов – отчуждение.

Клавиши белые, клавиши чёрные –
Гаммы мажорные, гаммы минорные.
И разделения – суть иллюзорные –
Зло и добро. И ошибки упорные.
Белые – чёрные, чёрные – белые.
Судьбы неловкие – песни несмелые.
Право на выбор и на сострадание...
Жизнь и рояль. Ничего в оправдание.

Ночь

*...И рядом есть печаль. Её лицо
Я вижу ночью в зеркале прихожей...
Мария Знобищева*

Дневная суета, дела...
Но гасит день своё светило.
А ночь мне тихо объяснила,
Насколько ноша тяжела,
Насколько стала я слабей.
И так открыта для удара,
И радость мне теперь – не пара.
Должно быть, зря я верю ей.
Должно быть, я не так смела,
Коль ночь легко играет мною...
...Гроза. Рассвет. Окно открою.
Всё лгут ночные зеркала!

* * *

– Смилуйся, государыня Рыбка!
Смилуйся! Да теперь всё едино...
Не сердись да не гневайся шибко:

Любящим тяжелей, чем любимым.
 Пусть она, та любовь, только в радость,
 Хоть в беде – словно солнышко светит.
 Так сильна – ей что старость, что младость,
 Перед ней все – что слабые дети.
 Смилуйся, государыня Рыбка!
 На старуху мою, что блажила,
 Не сердись да не гневайся шибко...
 ...Слышь, а она меня тоже любила?

* * *

Потерпи же, от боли жмурясь,
 Пусть в крови зачастит прибой.
 Отголоски душевной бури
 Запоздало плеснут волной.
 На размытом песке – обломки
 Ненадёжного бытия,
 И у каменной хищной кромки
 Чуть шевелится тень твоя.
 Новой жизни канва – на пальцах,
 Прихотливый узор – незнаком.
 И жемчужина в сжатых пальцах –
 Вместе с кровью, водой, песком.

* * *

Чужие строки – упрёк иль помощь?
 В чужих напевах, как в море, тонешь.
 В чужую лодку, спасаясь, прыгнешь.
 Ломая, вёсла дугою выгнешь.
 А толку мало – не зная цели,
 Метаться слепо от глуби – к мели.

Пожалуй, верить... во что-то надо?
Мечтать и помнить о тайне взгляда,
О праве жизни, о силе слова.
И даже если с нуля и снова,
С пустого места и с пепелища...
Твой ветер, может, тебя отыщет?
Враньё, что нету твоей дороги.
Твоя дорога толкнётся в ноги –
На камне камень. Бывает хуже –
Когда дороге ходок не нужен.
Шаг первый – дерзкий, неосторожный.
Чужие строки – как знак дорожный.
Твоя дорога куда длится,
Иди, не смея остановиться.

Странник

– Имя своё, имя мне назови.
Песню свою, песню свою мне спой.
Слово скажи – слово своей любви.
Где твой причал, берег заветный твой?
– Имя моё – дальнего ветра лад.
Песня моя – звёздный хрустальный звон.
Слово любви – сердца бесценный клад.
Берег мой где?.. Там, за туманом он.
– С чем ты пришёл, как мне тебя понять?
Хлеб разломить или достать кинжал?
– Долгий мой путь – он лишь ведёт меня.
Ты ли меня, я ли тебя – не звал.
Имя моё – дальнего ветра лад.
Песня моя – звёздный хрустальный звон.
Слово любви – сердца бесценный клад.
Берег мой где?.. Там, за туманом он.

Сирень

Бушует сирень у дома.
Ей, право же, дела нет,
Что на сердце лёд не сломан,
В душе заморожен свет.
Ей, право же, безразличен,
Тревог и печалей гнёт.
Такой у неё обычай –
Весною она цветёт.
Она не врачует раны,
Не снимет беды печать.
Ей кажется очень странным,
Что можно рубить плеча
И, чуда не замечая,
Скрываться от глаз весны.
...Как щедро сирень шальная
Волшебные дарит сны!

Летняя ночь

Спит июль. В ночной прохладе
Сонно дышит ветерок,
По плечу, ласкаясь, гладит,
Нежно холодит висок.
И кружат, кружат печали
Мотыльками над свечой,
И ложатся складки шали
На озябшее плечо.
Сад, очерченный луною.
Круг, очерченный свечой.
Прячась где-то за спиною,

Шепчет муза горячо.
Тень лозы глядит в окошко,
Пляшет самбу на стене.
Огонёк свечи ладошкой
Машет зреющей луне.

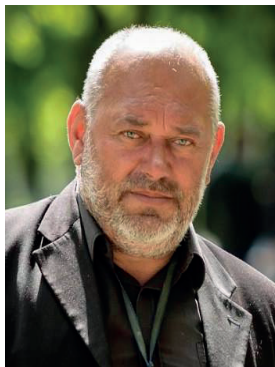
Приметы октября

Так в чём приметы октября?
В неярком отблеске заката,
Когда вечерняя заря,
Прощальным золотом горя,
Мечту твою влечёт куда-то.
Светла осенняя печаль,
За стайей птиц зовёт в дорогу –
Туда, где за туманом даль,
Где ничего уже не жаль,
Где всё забудешь понемногу.
Грустит украдкой старый дом.
А хризантемы пахнут мёдом,
Седой полынью и дождём.
Надежды летние на слом
Октябрь отправит мимоходом.
Придёт прозренье в свой черёд,
И мудрость – за потери плата.
Осенний открывают счёт
И птичьей стаи перелёт,
И мокрый лист, к стеклу прижатый.

Осенний взгляд

Смакуя ветер каждым вдохом,
Прохладу тающего дня,
Пронзительным и мудрым оком
Посмотрит осень на меня.
Но остаётся неизменным –
Сквозь август далее, к снегам –
Тепло, текущее по венам,
К весенним дальним берегам.
И остаётся – слава Богу –
Тревожный, нервный ритм стиха,
Зовущий изредка в дорогу –
Туда, где не был... Не стихай –
Покуда бьётся кровь прибоем
В холодный берег бытия!
Пусть осень заметёт листвою
Осколки раненного «я».
Потом зима бинтом широким
Затянет след сгоревших дней...
...Пронзительным и мудрым оком
Взирает осень из дверей.





Сергей СОКОЛОВ

Подводная лодка

Стихи

Медовый Спас

(14 августа 1944 г.)

Лежим в окопах. Ждём свой час.
Из пушек лупят наши «черти».
Сегодня Спас. Медовый спас...
Но вот спасёт ли он от смерти?

Ну что, ребята? Всё. Пора!
Перекурили перед боем.
И громогласное «Ур-р-а-а-а!»
Уже разносится над полем.

И нам кусочек «пирога».
Летим вперёд быстрее ветра.
Не сто, брат, метров до врага,
А целых сто горячих метров!

Высокий бруствер как забор,
Ну а за ним пошла работа -

Я бью короткими в упор.
Держись, фашист, идёт пехота!

Крушу прикладом и стволом...
Ещё один, совсем мальчишка,
Как мой, погибший под Орлом.
За автомат? Ну, это слишком!

Как мягко входит в тело нож!
Кровь обожгла. Отдёрнул руку.
Ещё удар, ещё! Хорош,
Обмяк как куль с навозом, сука!

Сюда не надо было лезть,
Дрожите, сволочи, от страха!
Я ваша совесть... нет, я – месть!
Я ваша смерть! Я ваша плаха!

А сзади мат и перемат -
Колян орет: «Серёга, справа!»
Я вновь хватаю автомат.
Мне промахнуться нету права.

Чтоб я вот так погиб в бою?
Врёшь, не возьмёшь! Держись, пехота!
Не успеваю, мать твою!
Стреляю длинной. С разворота...

Ну, мясорубка! Горячо!
Да ладно, не такое было...
Вот, чёрт возьми, удар в плечо!
Похоже, всё же зацепило!

Плечо – не печень – заживёт!
И кости, вроде, не задеты...
А небо на две части рвёт,
Взлетая, красная ракета.

Затишье на передовой.
Ищу в кармане сигарету...
Ну что – живой! Опять живой!
Вот только Кольки больше нету...

Атака длилась ровно час.
Сегодня Спас. Медовый спас...

Подводная лодка

За бортом штормит. Вот шальная погодка!
Качает, как шлюпку на пенной волне.
Нырнуть бы скорей. Я - подводная лодка,
Мне как-то привычнее там, в глубине.

Казалось, вчера лишь вернулась я в базу.
В страну серых скал и полярных снегов.
А утром сегодня, практически сразу,
Опять ухожу от родных берегов.

Конечно, устала. Но плакать не стану,
Ведь держится как-то команда моя.
Похоже, что тоже она из титана,
А может, из стали. Короче, как я.

Ну всё, погружаюсь. Задраены люки.
Устало винты за кормою шумят,

И вновь бесконечные сутки разлуки,
Но мне-то чего? Я боюсь за ребят.

Боюсь за подводников в чёрных пилотках.
Боюсь до мурашек стальных по спине.
А мне-то чего? Я – подводная лодка.
Мне как-то привычнее здесь, в глубине.

Разговор с вечером

Едва колышутся гардины,
В окошко вечер заползает
И сразу тянется к камину,
Наверно, вечер замерзает.

А, может, просто заблудился
И ищет у меня спасенья...
А, может, вечер простудился
Совсем от сырости осенней?

Асфальт покрыт дождливой сыпью.
Я понимаю - вот погодка!
Ну, заползай, дружище, выпьем
Вдвоём с тобой по рюмке водки.

Ну, заползай, дружище, грейся!
Быстрее, темень на подходе.
И мы заснём с тобой под песню,
Назло осенней непогоде.

Проснёмся вместе рано-рано.
Я утро запущу в окошко,

А ты уж как-то под диваном
Перетерпи, дружок, немножко.

Ведь дни осенние коротки,
И солнце светит, но не греет.
А там опять по рюмке водки
Нас ждёт с тобой, как свечерееет.

Мама

Мама, хватит! Сколько можно?
Ты ответь мне на вопрос.
«Стой!», «Не трогай!», «Осторожно!»
Я уже совсем подросток.
Я, наверно, очень ранний,
Мне не нужен ремешок.
Даже без напоминаний
Сам сажусь я на горшок...
Повторяю я упрямо,
Говорю в который раз:
Я почти что взрослый, мама!
Мне в субботу в первый класс...
Хватит, мама! Умоляю!
Не хочу я быть ханжой,
Да, учусь я! Не валяю!
Я уже совсем большой.
Даже щёки подбриваю!
Мама, честно говорю.
Нет, пока не выпиваю.
Нет, пока что не курю...
Я стесняюсь, что за руку

Вечно ходишь ты со мной.
Надо ж, вот какая штука –
Завтра, мама, выпускной...
Мама, хватит! Не тревожься!
Снова я тебя прошу.
«Нет, не стоит! Обожжёшься!»
Не волнуйся, отслужу...
Да, аллё! Зачем же ночью?
Были в море. Да, ходил.
Нет, остался на сверхсрочной.
Да, женился. Да, родил.
Отпуск будет где-то в мае,
Только не переживай.
Что, скучаешь? Понимаю.
Ладно, всё. Пока. Давай...
Здравствуй, мама! Ёлки – палки,
Вот не думал – седина!
Познакомься: это Галка,
Нет, навеки. Да, жена...
Мама, хватит! Сколько можно?
Ты ответь мне на вопрос.
«Стой!», «Не трогай!», «Осторожно!»
Внук уже совсем подросток...
Повторяю я упрямо,
Говорю в который раз...
Мама, мама! Где ты, мама?

* * *

Луга, болота и поля,
Темнеет лес полоской синей.
И это всё – моя земля.
И это всё – моя Россия,

С церквушкой белой на бугру,
С рекой, с убогими дворами...
Я здесь родился. Здесь умру,
И отпоют меня в том храме.

И воспарит моя душа
В немом мерцании лампы
Под робкий шёпот камыша,
Под мягкий шелест листопада.

Мне город шумный ни к чему,
Мне краше луг с перепелами...
Река в тумане, как в дыму
И облака над куполами,

На огороде бузина,
За речкой заросли рогоза...
Моя великая страна...
Моя любовь, беда и слёзы!





Денис ПОПОВ

ДЫМ ОТЧИЗНЫ

Стихи

* * *

Ни с того ни с сего поутру,
Я, себя не стесняясь, заплакал.
Может, Ангел провёл по нутру,
Словно ветер по стенам барака,
вдруг ладонью.
Иль что там у них
вместо рук, у посланников Божьих?..
Ни похмелья, ни мыслей дурных –
как проснулся – не чувствовал кожей.
Но заплакал..
И, глядя на свет
сквозь окно, улыбался кому-то.
Точно видел во сне: смерти нет!
Есть другое, Небесное, утро.

* * *

Снег ложится, как пепел на столик
В привокзальном кафе «Третий Рим».
А в снегу – у кафе – алкоголик,
Будто так и задумано им.
Вьётся пар над макушкой без шапки.
Или след уходящей души?
Семят мимо бабы и бабки:
Дома ждут их свои алкаши.
Смена кончилась, и в окнах «Рима»
Гасит лампы ночной продавец.
Не видать над пьянчугою дыма:
Тоже – видимо – смене конец.
Тяжелеют на холоде веки,
Будто так и задумано им...
Замерзают зимой человеки
По дороге в Иерусалим.

Старое фото

Пацаны: фуражки, шапки.
Девки малые в платках.
На горе, за домом бабки,
Кто в сапожках, кто в котках*.

Батя мой, такой же малый:
Кепка, белый ремешок.
Первый класс. Ещё начало
Жизни, так сказать – исток.

Парни жмурятся от солнца,
К девкам манится кычко*

Знали бы, где жизнь порвётся,
Обошли бы смерть бочком.

Сколько их на старом снимке,
Не прожили и полста,
С родиной уснув в обнимку,
Сами родиною став?

*Котки, коты (сев.) – валенки, укороченные до высоты калош.

*Кычко (сев.) – пёс

Слово о малой родине

Легко любить её, живя вдали.
Я сам о ней скучал на расстоянье,
Помешивая памяти угли
В сознание.

Легко любить, когда недобрых слов
От матери уставшей ты не слышишь.
Когда носов других её сынов,
Твой – выше!

Когда из «вместе – тошно, тяжело – врозь!»
Ты выбираешь помнить лишь о первом.
Ни времени, – достать торчащий гвоздь –
Ни нервов.

Но где б ты ни был, слабости её –
Не только силу! – ты несёшь с собою.
Себя ломать сложнее, чем бельё
Зимой.

Не оттого, что тяжело несть суму,
А руки у неё с годами слабы,
Люби её, да просто потому,
Что – баба.

Два ковша

Вспомню детство: в хозяйстве у бабки
два ковша в деревенском дому...
Как приеду зимой: ноги в тапки,
словно старшему руку, я жму
деревянную ручку большому,

наполняя водой самовар.
Позже, в бане, пожму и малому –
с ним ходил я накидывать пар.

Ковш повыше да ковшик пониже.
Будто бабкиных братьев война
заменила на них, неподвижных:
на печи – вон! И вон – у окна!
Никого, ветра, может быть, кроме,
в той избе. И тоска на душе.

В небесах – в новом бабкином доме –
вижу пару знакомых ковшей.

Дым Отчизны

Дым отчизны курчав и высок
Нарождается в долгие зимы.
Он – лишь неба сезонный приток,
Но деревня и дым – неделимы.

И проталины – у валунов
Труб печных – не заносят метели.
Бей, Отчизна! Стучи колуном,
Стены изб чтобы не индевели.

Бей, Отчизна горячим ключом
Из-под снега... и словом Христовым.
Может стану твоею свечой,
Если сыном не вышло путёвым.





Павел ШИРОГЛАЗОВ

«Очи свои обращаю на север...»

Стихи

* * *

Очи свои обращаю на север,
Там, где безмолвие диких полей.
Там, где слова, как в церковном распеве,
Стелятся грустью по русской земле.
Там, где в амбарах живут домовые
И заповедная тропка видна.
Здравствуйте, годы мои нулевые:
Время всеобщего сытого дна.
Сердце моё когти рвёт из вольера
И обретается в зимнем бору.
Совесь моя – наивысшая вера
В то, что от старости я не умру.
Очи свои обращаю на север:
В русскую душу, в чудной звукоряд.
Там где слова, как в церковном распеве
Голосом предков со мной говорят...

* * *

Я нырнул в тулуп овечий, от мороза чуть живой,
И слышал человеческий то ли голос, то ли вой.
Ветер гнул берёзам пальцы и ломал запястья рук.
Одинокие скитальцы становились в полукруг.
Круговой была порука в пункте выдачи тепла.
Ветер в души лез без стука сквозь замёрзшие тела.
Бог один, а нищих много: всех непустишь на ночлег.
Здравствуй, дальняя дорога.

Здравствуй, русский человек!

Сбросил я тулуп овечий и гордыню порешил,
Сохраняя человеческий облик собственной души.
Если до утра не сгину и меня услышит Бог,
Я рубаху тоже скину, чтобы он согреться мог...

* * *

Сопричастный живым, обнимаю траву,
Чтоб спасти от бессмысленной давки,
А в небесной конторе стучит «ундервуд»,
Отбивая пароли и явки.
Всех на свете прощаю и зла не держу
В гарнитурах случайного крова.
Сопричастный живому по свету хожу
И несу заповедное Слово.
Сколько я в этом мире ещё проживу
Знают только в заоблачном главке.
Сопричастный живым, обнимаю траву,
Чтоб спастись от бессмысленной давки...

* * *

Я кутался наспех в болотную тину
И бился глазами о днище колодца.
За вечную жизнь я платил десятину:
Не так уж и много для первопроходца.
Меня привечали небесные своды,
И ветры мой дом обдирали до нитки,
А после я падал в крещенские воды
И снова топтался у райской калитки.
Ходил по воде и оттаивал в марте,
Плюсуя к любви незажившие раны.
Я был, как решительный выстрел на старте:
Неистовый пасынок русской nirваны.
Я кутался наспех в болотную тину
И бился глазами о днище колодца.
За вечную жизнь я платил десятину:
Не так уж и много для первопроходца...

* * *

Студёным днём мне было горячо:
Вокруг текли и плавилась сугробы,
И я горел негаснущей свечой:
В своих стихах не самой первой пробы.
Белесый дым карабкался наверх
И покидал земное пепелище:
Трещало небо на виду у всех,
Пуская душу в новое жилище.
Студёным днём я полыхал огнём
И согревал озябшие задворки.
Да будет свет! И это все о нём,
О зимнем дне отечественной сборки...

* * *

Пустым карманом истину ловлю,
Ломаю быт дыханьем подворотен.
В больших домах не место королю
Бездомных дней и северных полотен.
Дрожит река, и скачут мураши
В стальной воде ветхозаветной рябью,
И чтоб развеять судорогу бабью,
Я зашиваю дно своей души.
Пустынный мост – неназванный мой брат –
Купает ноги в утреннем тумане.
Звенит душа, как истина в кармане,
И оттого я сказочно богат...

* * *

Клочок земли и лес к нему бочком.
Дождливый день беспомощен и зыбок.
В родные травы падаю ничком
Мешком сомнений, пробок и ошибок.
Прижавшись сердцем к белым облакам,
Я слышу песню северных окраин,
И божьей коровёнкой по рукам
Скользит июнь, дождлив и неприкаян.
Глаза озёр с нефритовым зрачком
Слезятся блеском нерестовых рыбок.
Клочок земли и лес к нему бочком.
Дождливый день беспомощен и зыбок.

* * *

Меняхватило ровно на любовь:
Всё остальное – как-то между делом.
Я уходил. Я возвращался вновь
В родную глушь живым и скороспелым.

Меняхватило ровно на одну,
Одну шестую часть большой планеты,
И сколько б я ни «шарился» по дну,
Меня спасали русские рассветы.

Меняхватило ровно на стихи,
Которыми я пробивал дорогу
В непроходимых зарослях ольхи,
Зачем-то так угодно было Богу.

Мне били в глаз и рассекали бровь,
Я отвечал уверенно и смело.
Меняхватило ровно на любовь:
Всё остальное – как-то между делом...

* * *

Хлопали крыльями белые аисты
И окунались в небесные проруби.
Были глаза мои полные радости,
Были слова мои – вьючные голуби.
Солнце меня пеленало восходами
И разбивалось о тайную вечерю.
Были печали мои – непогодами,
Были надежды – огнивами вечными.
Хлопали крыльями белые аисты
И в полыньи окунались небесные.

Были глаза мои полные радости.
Были стихи мои самые честные...

* * *

На каком языке нам сегодня придётся беседовать,
По каким закоулкам души ковылять босиком?
На каком «крузаке» ты приедешь меня исповедовать:
За какую такую любовь назовёшь дураком?
Я внимаю словам убиенного тёзки-апостола:
Обнимаю весь мир и пускаю в него корешок.
Мне не нужен дворец: мне хватает дешёвого хостела,
Да и ряса для грешной души – это просто мешок.
На каком «крузаке» ты приедешь меня исповедовать?
Всё, что скажешь приму, и последним с тобой поделюсь.
На каком языке нам сегодня придется беседовать?
У святыни какой будем вместе вымалывать Русь?

* * *

В моей руке не карандаш, а пёрышко гусиное,
Которым я веду-бреду по белому листу.
Покуда теплится внутри свеча неугасимая,
Доброжелателей своих я вижу за версту.
Насмешки в спину мне летят, как будто подаяние,
И часто хочется упасть от этаких наград.
Доброжелателям моим известно всё заранее,
А я не знаю ничего, как в древности Сократ.
Пусть я не знаю, но люблю. Люблю, а значит верую,
И потому живёт во мне неистовый поэт,
Который, если спросит кто, что я такого делаю,
Придёт на помощь в темноте и выведет на свет...

Стих

Не родись у меня в голове,
Не рядись в арестантскую робу.
Лучше плавай в зелёной траве
И на вкус одуванчики пробуй.
Со шпаной во дворе не водись,
Не смотри подворотням за гланды.
Проживи безопасную жизнь:
Не загнишь от тюремной баланды...
Не просись ты ко мне в сыновья,
Не заглядывай в пасть черной бездне,
Пусть напишут тебя, но не я,
А какой-нибудь «сахарный» Резник.
Не родись у меня в голове,
В зимний сумрак не сплёвывай кровью,
Лучше плавай в зелёной траве
И торгуй с рук фальшивой любовью.
Вот тогда от тебя отрекусь
И пойду по дорогам скользящим:
Околею в пути, ну и пусть,
Но останусь собой – настоящим.

* * *

Я русские чащи на райские кущи
Менять не хочу, и не буду менять.
И пусть я – сорняк, у дороги растущий:
Господь для чего-то придумал меня.
Возможно затем, чтоб однажды безбожник,
Устав от нелепых и суетных дней,
К озябшей душе приложил подорожник,
И стало тепло, впрочем, Богу видней...



Василий КРАСНОВ

К 100-летию подавления Антоновского восстания на Тамбовщине

Предисловие к очерку

Ровно век назад в Тамбовской губернии, одной из некогда самых плодородных и густонаселённых в бывшей Российской империи, большевиками было подавлено самое ожесточённое по своему накалу антикоммунистическое выступление крестьян. В советский период это событие называлось «кулацко-эсеровский мятеж с элементами бандитизма», а в наше время, прежде всего, благодаря усилиям покойного борисоглебского историка В.В. Самошкина, получило название последней в истории России крестьянской войны.

Поворот в общественном сознании стал возможен не только в результате смены идеологической парадигмы, но и по причине вовлечения в научный оборот огромного массива отложившегося в центральных и региональных архивах материала, ранее недоступного профессиональным историкам из-за всевозможных ограничений и режима секретности.

Антоновский мятеж, вспыхнувший в августе 1920 года, подготавливался, как известно, прежде всего эсерами: и правыми, и левыми, создавшими на селе глубоко законспирированную и разноуровневую сеть комитетов «Союза трудового крестьянства» (СТК).

Однако «предгрозовая атмосфера» явственно ощущалась во многих уголках Тамбовщины с февраля 1920 года, когда в процессе осуществления продразвёрстки достигло пика число всевозможных, зачастую невыносимых в обычной жизни злоупотреблений, перегибов, насилий и откровенного издевательства по отношению к крестьянству со стороны продотрядов и губернского руководства.

Засилье в продотрядах дезертиров, слабость коммунистической прослойки в качественном отношении, отсутствие в сёлах Тамбовщины у коммунистов какой-либо надёжной опоры по причине превалирования зажиточного середнячества над беднотой, высокий процент кулаков (от 14 до 20 процентов при среднем проценте 3 по стране), помноженные на массовое дезертирство и нежелание служить в рядах Красной армии, – всё это в совокупности создавало питательную среду для подготовки взрыва народного возмущения.

И всё же последней каплей, переполнившей чашу терпения тамбовского мужика, стало непропорциональное распределение губпродкомом 11,5 млн. пудов продразвёрстки 1920 года в условиях жестокой засухи между 12-ю уездами губернии. При этом на три наиболее пострадавших от засухи уезда (Тамбовский, Кирсановский и Борисоглебский) пришлось 46% всей губернской развёрстки. Потребности же самой губернии равнялись, по подсчётам губпродкома, 64 млн. пудов, а собрать удалось только 32 миллиона пудов зерна.

При этом тяжким бременем на тамбовского крестья-

нина легла в предшествующий восстанию период и так называемая политика военного коммунизма.

Выполнение продразвёрстки в полном объёме грозило населению этих уездов неминуемой гибелью от голода. И, как только в деревнях и сёлах юго-востока Тамбовщины появились продотряды, сразу же начались конфликты крестьян с их бойцами и командирами.

Вспыхнувшее во второй половине августа 1920 г. на стыке Борисоглебского и Тамбовского уездов восстание, возглавленное А.С. Антоновым, быстро распространилось и на другие территории Тамбовской губернии. Своего пика оно достигло в январе – марте 1921 г., когда две армии повстанцев оказали максимальное сопротивление регулярным частям Красной армии. Однако окончательный перелом произошёл только в мае-июле 1921 г. Именно тогда, в сорокадневных боях, регулярные части Красной армии, наконец, сломали сопротивление повстанцев. К сожалению, зачастую не обходилось без обоюдной и, порой, крайней по формам своего проявления жестокости.

В ходе восстания на Тамбовщине последовательно сменились пять главкомов войск Красной армии, а общая численность вооружённых сил достигла 120 тыс. человек. Против повстанцев применялись не только пехота, конница и артиллерия, но и бронепоезда, бронепоезда, авиация, и даже химическое оружие – отравляющие газы, которые, впрочем, существенного урона им не нанесли.

Во второй половине 1921 г. против повстанцев широко применялась практика взятия в заложники членов их семей, дополненная конфискацией имущества и помещением заложников в концлагеря. В наиболее бесчеловечной форме она проявилась после изданного Полномочной комиссией ВЦИК приказа № 171 от 11 июня 1921 г., пять пунктов которого из семи были расстрельными.

Аресту заранее намеченных заложников предшествовала оккупация конкретного населённого пункта какой-либо волости, «созыв» населения на сход и, в случае невыдачи оружия и повстанцев, массовый расстрел заложников. Их общее количество неизвестно и по сегодняшний день.

Подобного рода действия были продолжены и после проведения в Тамбове 25-28 июля 1-й общевойсковой конференции, на которой М.Н. Тухачевским были подведены итоги борьбы с антоновским восстанием.

Не миновало этой печальной участи и бывшее тогда волостным центром село Сукмановка Борисоглебского уезда, в котором 25 сентября 1921 г. в числе других заложников была расстреляна известная в России исполнительница цыганских романсов, композитор и поэтесса графиня Т.К. Толстая (урождённая Шиловская, по первому мужу – Котляревская).

Нашедшая приют на Тамбовщине после Февральской революции 1917 года, она на своём собственном горьком опыте познала, что же представляет собой «русский бунт, бессмысленный и беспощадный».

Памяти графини Т.К. Толстой и посвящается мой очерк.

Смерть царицы романса

К 100-летию со дня гибели графини Т.К. Толстой

25 сентября 1921 г. в воскресенье на центральной площади села Сукмановка Борисоглебского уезда Тамбовской губернии было необычно многолюдно. Все способные передвигаться жители села, за исключением тех, кто успел обратиться в бегство, в буквальном смысле слова были согнаны на сход. У восточной стороны храма Нико-



Т.К. Шиловская. 1895 г. Фото из альбома семьи Пономарёвых, бывших владельцев села Кой (Сонковский район Тверской области)

лая Чудотворца, охватив её полукольцом, стояли около 300 кавалеристов. Внутри этого полукольца находились пятеро заложников, а напротив каждого из них стоял солдат-пехотинец с заряженной винтовкой. В центре этой пятёрки была единственная женщина – известная в России исполнительница цыганских романсов, композитор и поэтесса графиня Татьяна Константиновна Толстая (урождённая Шиловская, по 1-му мужу Котляревская), волею судьбы оказавшаяся в наших краях после Февральской революции 1917 года.

Согласно приговору «...взяты в заложники по Сукмановской волости как антисоветский элемент в количестве

5 человек: 1. Толстая Татьяна Константиновна (графиня). 2. Шаталов Яков Иванов (шпион и укрыватель бандитов). 3. Щербаков Тимофей Михайлов (главарь в поломке ж.д. линии). 4. Калягин Василий Степанов (бывший заводчик, эксплуататор). 5. Алтухов Кондратий Иванов (негодный элемент)».

Подписали приговор: уполномоченный уисполкома Удалов; начпобрига 1 Тамбов А. Власов; представитель особого отдела 1 отдельной Тамбовской кавбригады Седов; председатель райревкома и райком(парта) Каширин; бригадный командир 3-го эскадрона 3-го кавполка Шлыков.

Событие это – оккупация волости с последующим арестом заранее намеченных заложников и расстрелом в случае отказа сдать имеющееся на руках у населения оружие, произошло после приостановления 20 июля 1921 г. Полномочной комиссией ВЦИК исключительных мер своего приказа № 171, и после проведения 25-28 июля в Тамбове 1-й общеармейской конференции коммунистов войск Тамбовской губернии, на которой М.Н. Тухачевским были подведены итоги борьбы с антоновщиной.

19 сентября 1921 г. уполиткомиссия Борисоглебского уезда «ввиду бандитского настроения населения, большого количества оружия, бандитского элемента и отказа выполнения продналога» приняла постановление «об оккупации с применением приказа № 171» не подвергавшихся ранее оккупации следующих 9-ти волостей: Сукмановской, Бурнакской, Русановской, Туголуковской, Уваровской, Верхне-Шибряйской, Подгорненской, Красно-Хуторской, Моисеево-Алабухской.

В действительности расстрелы заложников в некоторых указанных волостях имели место задолго до этой даты.

На импровизированной трибуне стоял невысокого роста человек в кожаной тужурке, весь перепоясанный

ремнями, в сапогах и красных галифе. Он громогласно требовал от притихших селян сдачи оружия, ибо Сукмановка, в числе прочих населённых пунктов, считалась селом «злобандитским». Выступавший объявил, что у приговорённых к расстрелу якобы было несданное оружие. Затем, после прочтения приговора, последовала команда о расстреле, при этом приговорённые были повернуты лицом к ограде.

Ровно в 14 часов 20 минут командир 3-го эскадрона 3-го Приуральского кавалерийского полка Родион Фёдорович Шлыков, незадолго до этого награждённый орденом Красного Знамени (№ 9736), скомандовал «Пли!».

К приговору впоследствии был приложен «Акт 1921 года сентября 25 дня»: «Комиссия в составе старшего милиционера по Сукмановской волости тов. Колмакова, члена Сукмановского волревкома тов. Елагина и коменданта 1-й Тамбовской кавбригады тов. Трифонова составила настоящий акт в следующем: сего числа нами был произведён осмотр расстрелянных граждан, при которых оказалось следующее: у гражданина Василия Степанова Калягина одно золотое кольцо и двадцать три тысячи 750 руб.; у Татьяны Константиновой Толстой восемнадцать тысяч пятьсот руб. А потому постановила: вышеозначенное кольцо и деньги передать в распоряжение уполномоченного Политкомиссии тов. Удалова. Подписи: Трифонов, Елагин, М. Колмаков. Секретарь...» (подпись неразборчива – В.К.).

Сохранилась также и расписка, которая собственноручно была дана уполномоченным по оккупации Удаловым комиссии по составлению описи имущества в том, что «от них получено золотое кольцо и 42250 руб. денег с расстрелянных».

Согласно неподтверждённой легенде, у Татьяны Константиновны при обыске был якобы найден подаренный мужем много лет назад женский браунинг, о котором

она совершенно забыла...

Так оборвался земной путь женщины, чьими родителями были К.С. Шиловский и светлейшая княжна М.К. Имеретинская, и чьи романсы некогда входили, и по сегодняшней день входят в репертуар многих современных исполнителей эстрадного и оперного искусства: В. Паниной, А. Вертинского, В. Козина, Т. Церетели, Н. Обуховой, Г. Каревой, Л. Зыкиной, Н. Тишиновой, М. Александровича, Д. Ряхина, О. Погудина, Н. Масловой и других.

Место упокоения графини Т.К. Толстой, а также обстоятельства и время погребения, если только таковое было, неизвестны.

Р.С. 26 и 27 сентября 1921 г. оккупация Сукмановской волости и расстрелы заложников были продолжены. В ходе них были казнены ещё 10 человек, включая трёх женщин.

Полную версию очерка о жизни и смерти графини Т.К. Толстой можно прочитать в газете «Жердевские новости» (номера: 28 октября, 4 ноября, 11 ноября – 2015 г.; 8 июня – 2016 г.); в журнале «Александръ» (№ 2, 2018 г.). Кроме того, информация об этом и других событиях содержится в моей книге «История села Сукмановка Борисоглебского уезда Тамбовской области: 1748-1989 гг.». Тамбов, 2018, стр. 246-286.; и в книге «Из прошлого в грядущее. Село Кой» 3-е издание. Тверь, 2021, стр. 46-47.

Василий КРАСНОВ,
кандидат исторических наук





Валентина ДОРОЖКИНА

Выбор – один и на всю жизнь

К юбилею профессора Ларисы Васильевны Поляковой

Учёный-филолог, литературовед, критик, педагог, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Лариса Васильевна Полякова родилась в деревне Редькино Староурьевского района Тамбовской области в семье журналиста. Получив среднее образование, поступила в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Затем – аспирантура, защита кандидатской диссертации. Работала в педагогических институтах Комсомольска-на-Амуре, Тобольска. Преподавательскую деятельность в Тамбовском государственном педагогическом институте (ныне – университет имени Г. Р. Державина) Лариса Васильевна Полякова начала в 1973 году.

Выбор профессионального и жизненного пути был сделан раз и навсегда – путь педагога, учёного-литературоведа.

В 1977 году в Москве вышла книга Ларисы Поляковой о Василии Казине – «Поэзия рабочего мая». Она стала событием и открытием. В таком масштабе об одном представителе литературы 1920-х годов не писал никто и никогда. Да, Василия Казина немного знали – в общем списке про-



летарских поэтов, но не представляли глубины его творчества, противоречивости, болезненных исканий. Лариса Васильевна, собрав огромный материал о поэте, с такой любовью оформила его в книгу, что не заразиться её чувством было нельзя. Она пробудила интерес ко всем представителям «Кузницы», которых мы привыкли воспринимать односторонне и как-то отстранённо. Мы и не думали, что Василий Казин, автор стихотворений «Рубанок», «Рабочий май», «Гармонист», основанных на прозаическом материале, мог написать и такое:

*Гнетёт и горе, и недоуменье,
Гвоздём засело в существо моё:
Стою – твоё живое продолженье,
Начало потерявшее своё...*

Читая труд Ларисы Поляковой, невозможно не увидеть за строками о Казине автора книги – исследователя-труженика. Пожалуй, с «Поэзии рабочего мая» и началось открытие самой Ларисы Васильевны – тогда начинающего критика и литературоведа, выросшего теперь в большого учёного, которым гордится Тамбовский край и, конечно, её родная Староюрьевская земля.

Как радовались тамбовские литераторы, когда Ларису Полякову приняли в Союз писателей! «Наконец-то, – говорили собратья по перу, – у нас появился свой профессиональный критик и литературовед». И, то ли в шутку, то ли всерьёз, добавляли: «Будет теперь кому о нас писать». И она писала. Её рецензии на книги Майи Румянцевой, Ивана Кучина, Семёна Милосердова, Алексея Шилина, Ивана Елге-

чева и других, публиковавшиеся в местной и региональной прессе, воспринимались с большим интересом и читателями, и самими авторами. Скорее всего, потому, что отклик Ларисы Васильевны на их произведения был не просто рецензией в узком (и «сухом») значении и понимании этого жанра. Это были доверительные беседы критика с автором и его читателями.

Предваряя изданную в 1996 году книгу «Выбор», куда вошли многие заметки о творчестве тамбовских литераторов, Л. Полякова подчёркивала давно назревшую необходимость серьёзного разговора о них, отметив при этом, что вполне допускает несогласия других с её оценками: «Я не претендую на бесспорность и окончательность выводов... Я приглашаю к заинтересованному обсуждению тех проблем современной жизни и литературы, которые вижу как наиболее тревожные и обнадеживающие...»

Вот эта не безапелляционная оценка, не навязывание собственных взглядов, а приглашение к разговору характерны для публицистики Ларисы Поляковой. Она умеет найти в творчестве каждого автора то ценное, что выводит рассуждения о стихах поэта далеко за рамки его сборников. «В конце концов, – пишет критик, – любой автор сознательно идёт к читателю, а вышедшая книга, как только попадает на прилавки магазинов, перестаёт быть собственностью автора, она становится народным достоянием». Вот об этом, подчёркивает Л. Полякова, писатель должен помнить всегда.

К мнению этого литературоведа и критика не просто прислушиваются, его ценят. И попасть «под перо» Поляковой – большая честь, даже если рецензия будет не лестной. Важно другое: она пишет только о том, что её заинтересует.

Нельзя не заметить, что свои высказывания, оценки Лариса Васильевна всегда подкрепляет сильными аргументами. Не могут не поражать её обширные знания. Она всег-

да в курсе того, что происходит на литературном Олимпе, замусоренном, правда, в последние годы. Но и это, наверное, может пойти на пользу: научись выбирать, отсеивать...

Для серьёзного разговора на ту или иную тему надо этой темой владеть. Лариса Полякова всегда в совершенстве владеет предметом обсуждения. С ней интересно говорить, спорить, потому что после каждого общения обогащаешься, словно пьёшь родниковую воду и знаешь, что источник неисчерпаем. И как же счастливы были её студенты, аспиранты, которые ежедневно общались с ней! Она никогда не читала им нотации, она просто являла собой яркий пример для подражания:

*Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!*

В этих строчках Николая Заболоцкого выражено жизненное и творческое кредо Ларисы Васильевны Поляковой. Она не позволяет лениться ни душе, ни уму, ни рукам. Она просто не знает, что такое лень.

У профессора Поляковой много «знаков отличия»: Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор филологических наук, член Союза писателей России, лауреат Всероссийской премии имени С. Н. Сергеева-Ценского и областной – имени А. К. Воронского. Но сама Лариса Васильевна иногда недооценивает себя, часто сомневается: так ли поступила? Вот это, наверное, зря сказала – вдруг кого-то обидела?

О чём свидетельствуют эти сомнения? О неравнодушии к человеку – коллеге, студенту, просто собеседнику. Лицо Поляковой может быть озабоченным, весёлым, напря-

жённным, но равнодушным – никогда! Этот человек – из тех людей, кто не будет отмалчиваться, как бы выгодно это ни было. Сколько высказываний сделано ею во вред себе! Но её принципиальность, неподкупность не остаются незамеченными даже недоброжелателями. С болью воспринимая всё, что сейчас происходит в системе образования, Лариса Полякова выступила с резкой, аргументированной оценкой изменений (к худшему!) в преподавании русской литературы в школе. Её проблемные статьи печатались в областной прессе, на страницах «Литературной газеты», «Известий», «Советской России» и др. Тревогой за состояние культуры наполнены её многочисленные публикации, которые могли бы стать и руководством к действию.

Лариса Васильевна никогда не уделяла столько внимания себе, сколько уделяет другим. На кафедре истории русской литературы ТГУ имени Г. Р. Державина, которую она возглавляла с 1989 по 2011 год, до сих пор вспоминают, как несколько лет назад, после операции, едва отойдя от наркоза, она попросила не есть, не пить, а принести диссертацию своей докторантки...

О таких людях, как Полякова, говорят: работает на износ. И ведь на самом деле так. Лариса Васильевна признаёт это, но изменить давний, постоянно напряжённый ритм жизни, в которой во главе угла – работа, уже не может. Мало кто знает, что было время, когда Лариса Полякова могла взять в руки гитару и петь песни собственного сочинения. Поэтический талант она, уж точно, «зарыла в землю». Хорошие были у неё стихи!

По инициативе Ларисы Васильевны, создан Научный фонд Е. И. Замятина, ставший с конца 2001 года Международным научным центром изучения творческого наследия Замятина, с филиалами в Ягеллонском (Краков, Польша) и Лозаннском (Швейцария) университетах. За-

мятинские чтения много лет были в Тамбове традиционными. Сюда приезжали известные учёные из многих стран Ближнего и Дальнего зарубежья. И надо было видеть, как в перерывах или после работы научного форума они устремлялись к профессору Поляковой – удивлённые, восхищённые, потрясённые масштабом деятельности этого человека! И, конечно, неофициальное звание «Маэстро литературы», присвоенное Ларисе Васильевне коллегами, аспирантами, студентами, она вполне заслужила, заработала колоссальным трудом, как и всё, чего добилась в жизни.

Ларисой Поляковой написано немало книг краеведческой и научной направленности; она автор учебников и методических пособий, которыми пользуются учителя, студенты, аспиранты и вузовские преподаватели. Фундаментальными можно с полным правом назвать издания: «Тамбовская магистраль русской литературы» (2011), «Литературоведение» (2012) – авторский курс лекций для аспирантов. Последнюю книгу Лариса Васильевна посвятила своим ученикам. А их у неё – великое множество, в том числе и тех, кто окончил аспирантуру и под её руководством стал кандидатом или доктором филологических наук. Её ученики успешно трудятся на ниве просвещения в школах и вузах Тамбовской области и далеко за её пределами. Они продолжают дело своего учителя.

В настоящее время Лариса Васильевна Полякова не занята преподавательским трудом: последние несколько лет она посвятила работе над объёмной монографией (около 1000 страниц!), о жизни и творчестве Евгения Ивановича Замятина. Книга выходит в издательстве ТГУ имени Г. Р. Державина к 80-летию автора.



Елена ЧИСТЯКОВА

Четыре червонца

Рассказ

За ломтём гнался, да чуть ковригу не потерял

В большом селе, районном центре, мне и моей семье достался в наследство от родителей старинный кирпичный дом, особняк. А отцу – от деда, а деду – от его родителей. Короче говоря – родовое наследство, «гнездо». После того, как ушли в мир иной мои родители, я, законный наследник, прожил вместе с женой и сыном в этом доме лет десять, ничего не меняя, не усовершенствуя. Топили печи, русскую – в кухне и голландку, украшенную изразцами, – в гостиной. Водопровод барахлил, вода шла с ржавчиной, и мы частенько пользовались колонкой рядом с домом. Нас преследовал страх, мы боялись переделками разрушить старый особняк. Хоть сложен был он из кирпича красного, огнеупорного, однако, только тронь, думали мы с женой, так всё и начнёт рушиться да сыпаться. Как оказалось позже, страхи наши были весьма преувеличены.

Помимо уважения к возрасту дома радовало нас и другое его преимущество – расположение. Стоял дом на главной улице, выходя окнами на площадь села. Я работал инженером на узле связи, жена преподавала математику в

школе, сын в той же школе учился и дополнительно – в музыкальной. Всё располагалось почти рядом с домом.

В том здании, где теперь музыкальная школа, раньше проживал с семьёй купец один, очень успешный, зажиточный. Дом тот крупнее нашего и в два этажа. В остальном они под стать друг другу, оба в классическом стиле. Видимо, в одно время построены были. Да так и выяснилось, подтвердилось впоследствии по документам.

Так вот. Принялись как-то в теперь уже музыкальной школе делать капитальный ремонт да приостановили работы. Стало ясно, что грандиозных переделок, с выламыванием стен, с созданием множества маленьких, индивидуальных классов каждому преподавателю по его музыкальному инструменту вряд ли получится, особенно – на втором этаже. Зато зал – удивительный, большой, с множеством огромных, «глазастых» окон и с выразительной лепниной под потолком. Да и люстра замечательная осталась: хрустальная, в бронзе, старинная. Почти такая же, чуть меньше, в столовой. Глядя на неудачи в реконструкции того здания, мы поостереглись кардинально свой особняк обновлять. Жили и жили себе.

Все праздники, демонстрации, гулянья народные проходили перед нашими окнами. Как в детских стихах: «А из нашего окна площадь Красная видна, а из вашего окошка, только улицы немножко...». К тому же площадь эта, в отличие от остальных улиц, чистилась во все времена года, а это для села большой плюс. Другие-то сослуживцы приходили на работу, имея на сапогах по «пуду» липкой грязи, а я – в чистых ботинках, по асфальту.

Рядом с площадью – небольшой, но уютный тенистый парк. Когда у нас родился сын, то на свежем воздухе, посапывая в колясочке, он проводил там большую часть дня, а подрастая, первые шаги свои совершил, топая по парковым дорожкам.

Вы, читатель, видимо, удивлены, что я так подробно описываю преимущества нашего дома? Потерпите и поймите, что зря ничего не бывает, всё имеет свой смысл и своё продолжение.

Как-то был я по работе в командировке в областном центре, и там, совсем неожиданно, ну просто удивительно даже, мне предложили повышение, причём с переездом в город. Преимуществ от этого предложения много. Зарплата очень достойная, сама должность с перспективой на будущее, работа жене с хорошей нагрузкой по предмету, плюс классное руководство, ну и сыну – всё, пожалуйста: «Дворец пионеров» с кружками, секциями и музыкальная школа. Я попросил время подумать, что очень удивило, конечно, моего начальника в области.

Обратно я вернулся в сильном смятении. Возможно, у людей, живущих в двадцать первом веке, даже вопросов не возникло бы на эту тему. Мол, чего тут раздумывать? Всё тебе в руки валится, глупому, а ты, видишь ли – в смятении чувств-с!

Возможно, но помимо финансового благополучия и служебной карьеры у человека моего времени, семидесятых годов двадцатого века имелись и другие аргументы. Я переживал за свой коллектив, за то, что трудно будет найти инженера с высшим образованием в село и, конечно, за дом предков. Неужели его придётся продавать? А если не продавать, то он быстро разрушится. Всему же уход необходим. Продажа особняка виделась мне предательством. Дом этот, как живой организм, наполненный памятью о предках и лично моими, детскими воспоминаниями, да и семейными реликвиями. Но, не продав его, мы в городе жилья не приобретём. Что ж, скитаться по частным квартирам? Однако дилемма!

Мы долго судили да рядили, голова раскалывалась от дум. Жена – за: аж глаза загорелись от такой перспективы, сын – в полном восторге. Стало быть, решение только за мной. Никто не поддержал, не пожалел моих чувств, оно и понятно. Мои душевные муки – только мои! Итак надумали в конце концов дом продать и уехать. Ну, правда пока появилось это предложение, надо было «брать быка за рога», как говорится. Оставить семью здесь, а самому мне мотаться из города за сто вёрст на выходные – тоже не решение. Жена категорически не согласилась, считая, что в городе меня тут же «охмурят и уведут», а потом «окрутят» с какой-нибудь «гулёной бабёнкой», вот ведь что! Будто я безвольная скотина, даже обидно стало. Ну и мнение у жены обо мне! Однако им, женщинам, виднее. К тому же, жить в городе, посещать музеи, театр, кинозалы – её сокровенная мечта. Просто она не озвучивалась до поры, якобы, чтобы мне душу не беречь. Ну-ну, поверил.

А в общем-то и работа моя может потребовать незамедлительного присутствия. А я в выходные в селе! Связь – телеграф, телефон, дело такое! Начнут звонить, искать, а я с семьёй, к примеру, в лесу грибы собираю или на лодочке по реке гребу вёслами, наслаждаюсь красотами. Тут моя голова и «полетит с плеч долой». С позором назад? Возьмут, не возьмут обратно, а от души позлорадствуют на эту тему, это уж «как пить дать». В общем, мысли одолели. Местные приятели-сослуживцы были удивлены не меньше городских. Как-то после работы, за рюмочкой, высказались по поводу моей перспективы:

– Мы, конечно, без тебя здесь осиротеем, но переживём, старик! Если бы нам такое предложили, а ты бы на коленях умолял остаться, прости, перешагнули бы и со скоростью курьерского умчались.

Решились мы на отъезд в конце концов.

Весь последующий вечер жена и сын писали объявления о продаже дома, а я готовился к сдаче должности. Объявления расклеили, в местную газету поместили. Покупатели приходили, да всё что-то их не устраивало. То полы «певучие», а двери «скрипучие», то сумма велика, а то окна с выходом на площадь не преимуществом, а недостатком являлись. Беда! Но мы не теряли надежду. А между тем съездили в город, подыскали себе двухкомнатную квартиру неплохую и, главное, по сходной цене, дали задаток и продолжили ждать покупателя на наш дом.

Наконец он пришёл, точнее они, с супругой и братом её. Люди сельские, амбициозные. Их радовало всё, особенно то, что окна на площадь смотрят.

– Вот, – заметил спесиво брат жены, вёрткий, тридцатилетний «обалдуй», как в последствии выяснилось, – пускай теперь тамошние утрутся, у себя там, в «дыре». Мы будем винишко попивать и в окошки на гуляющих поглядывать. Красота! И главное, сапог не замараешь, коль из дому выйдешь, асфальт! Уж побарствуем, сестрёнка!

Да, видимо, какие-то неведомые мне «тамошние из дыры» утрутся, да и не один раз, от зависти. Да и асфальт – серьёзный аргумент, чтобы считать себя теперь людьми из другого общества. Сестра этого «хлыща», до неприличия громко расхохоталась, запрокинув голову, одобряя слова брата.

Муж, человек не очень молодой, какой-то усталый, чувствовалось, от неловкости кашлянул в кулак. Казалось, брат драгоценной супруги ему совсем не нравился. А может, он и не брат вовсе? Муж, видимо, был только кошелёк с деньгами, а крутила-то всё она, её прихоть – жить в райцентре.

Когда мы вышли с ним покурить на заднее крылечко, тяжело вздохнул и по-свойски поделился:

– Бабы! Чего с них возьмёшь? У меня там хозяйство, бычки на откорм, коровы дойные, гусей стадо, всё на мать да брата оставил пока, а этим только «выпендриться» надо. Тьфу! Вытрясла всё с меня, стервоточина! Пуст! Как забулдыга рыночный, о-хо-хо!

Я пригорюнился, честно сказать. И вот эти, мягко говоря, странные люди будут владеть теперь моим домом, во все времена наполненным музыкой, поэзией, милыми встречами с культурными людьми? Но что тут говорить, когда я уже ступил на тропу предательства и преступления по отношению к дому предков. Не смог передать в *хорошие, заботливые руки*. «Дрянь я последняя! Вот кто я есть», – хлыстнул себя, мысленно бичуя.

Жена, чувствуя моё поникшее настроение, утешала, приобняв:

– Успокойся! Не кори себя. А если бы в те, прошедшие года, дом твоих родных экспроприировали, а? Ведь спасло только то, что дед твой был очень нужен, что план ГОЭЛРО осуществляли в ту пору. А то бы с вещами на выход, и такие же точно стали бы здесь проживать или коммуналку сделали бы. Посмотри, все дома, да и школа, и музыкальная тоже, да и твоя организация, всё гнездится в чьих-то особняках, ранее принадлежащих кому-то. А где те потомки, наследники? То-то!

Её слова несколько встряхнули, и мы занялись подготовкой к переезду. Не успели разобрать только «залежи» на чердаке и попросили дать нам время. Новые владельцы не возражали, к тому же, мы сказали, что там книги, рукописи. О, это вообще их не волновало, не их тема. Решили, пусть замок висит, как и висел, им не принципиально. Когда стали оформлять договор купли-продажи и я раскрыл папку с документами на дом, то выпала размером в лист, но сложенная вчетверо пожелтевшая бумага. В ней был написан-

ный витиеватым, каллиграфическим почерком, чернилами, через «ять», отчёт подрядчика или нет, скорее архитектора, отчёт о проделанной работе. И как сохранилась, ума не приложу! В частности упоминалось, что при закладке дома под каждый его угол, между основной кладкой и фундаментом положено по червонцу и пояснено: «Доподлинно сообщаю, как Вами, Ваше благородие, было приказано, четыре золотых червонца 1797 года чеканки под каждый угол дома поместить, так всё исполнили в точности. Как и велено было». Подпись и дата: «1863 год от Рождества Христова».

О, так дом ещё старше, чем я предполагал, почти сто десять лет ему! Молодец, стойкий оказался. А червонцы те выпущены, стало быть, отчеканены в годы правления Павла Первого! А если так, то это уникальные монеты, редкие. Это не те, известные как червонцы с обликом Николая Второго, а можно сказать, раритетные! Главное, на монетах не было изображения самодержца! Павел Первый так решил, может из-за того, что внешнею невзрачен был? Да кто ж теперь знает о причине! На лицевой стороне, аверсе, чеканили крест или чуть позже, двуглавого орла, а на реверсе, обратной стороне, надпись: « НЕ НАМЪ, НЕ НАМЪ, А ИМЯНИ ТВОЕМУ ». Всего два года выпускались такие монеты.

Это коллекционная редкость ввиду небольшого количества тех денег. Был отчеканен в то время также и полуимпериал, то есть пять рублей, но золотой червонец Павла Первого, это вам не империал, не полуимпериал, не целковый! Это историческая ценность, нумизматическая и раритетная величина! Я в юности занимался нумизматикой, собирал монетки, поэтому знал о них много. А тут просто обомлел! Да и не я один. Купившие дом, смутно представляя о чём конкретно речь, услышали слово «червонец» и этого им было достаточно, чтобы возрадоваться до неприличия громко. Брат с сестрой целовались, обнимались, пы-

таясь расшевелить и хозяина покупки, но он как-то примолк.

Деньги под углы дома было принято класть издавна. Это сулило достаток проживающей в нём семье, благополучие и счастье. Не обязательно золотые должны быть деньги, по достатку. Даже в погреб сыпали мелочь – потешить домового, убажить его. Да и под подоконник, под дверной косяк, при кладке печи тоже, под венцы деревянного сруба. Конечно, в то время, когда ставили этот дом, позже, ближе к середине девятнадцатого века, предки могли положить монеты Николая Первого, возможно, и Второго, но они, преследуя какую-то им одним ведомую благую цель, замуровали именно редкость. Они, предки наши, оставили монеты с удивительными словами своим потомкам. Надо над этим подумать, почитать бумаги с чердака. Ах! Тут только меня «шарахнуло» – дом-то продан! Деньги получены сполна! Почитать-то почитаю, да изменить ничего не смогу!

Моё положение было незавидно. Назад уже не повернёшь. Хотя по-хамски можно было бы разораться, наверное, попытаться расторгнуть договор, но только не мне. Если бы мы не знали о существовании этих четырёх червонцев, тогда как-то можно объяснить отступное. Мол, предки стали сниться, стыдить, укорять, в этом случае...

Стало ясно, дом – ценность нашего рода – ушёл в чужие руки и этому виною я, неблагодарный потомок!

Никогда не забуду момент прощания. Грузовик загружен вещами, водителю написан на листочке адрес подробный. Он уехал, а мы не сомневались, что его догоним в дороге, так как едем, конечно, быстрее на «Москвиче». Мои домочадцы уселись в машину, заваленную одеялами и подушками. Жена переживала за посуду, за сервизы и бокалы, опрометчиво отправленные в грузовике, правда обмотанные нашей одеждой, но всё же. Сын горевал об аквариуме и

рыбках, которых отдал в живой уголок «Дома пионеров», но оба они, усевшись в машину, преследовали благую цель: дать мне возможность попрощаться с домом, побыть одному.

Я бродил по гулким пустым комнатам, соринки похрустывали под моими башмаками. Прикасался к косякам дверным, к окнам, прижимался к русской печи. Тихо разговаривал с этими предметами моего детства, дорогими, милыми, утерянными навсегда. Обхватив руками, сколько смог, удивительно нарядную, украшенную старинными изразцами печь-голландку в гостиной, я прошептал:

– Простите меня! Не судите строго, не обижайтесь! Я буду дом навещать, приходить. При любом удобном случае или в отпуск, я обязательно приеду!

Дом на эти мои слова будто выдохнул, по ногам потянуло холодком. Я не успел подумать о чём-то мистическом, не успел и испугаться его реакции. Оказалось всё банально. Это сын приоткрыл входную дверь, позвал меня:

– Пап! Пора ехать!

– Да-да, пора! Прощай, дом, не копи зла, я тебя люблю, – вышел, осторожно прикрыв за собою дверь.

На улице стояли в ожидании недовольные задержкой уже новые владельцы. Они не понимали, что значат слова: «Он прощается с домом». Им было сие неведомо. Все ключи передали из рук в руки. Мы уехали. Я не оглянулся, не смог.

Как водится при переездах, передо мной встало много задач сразу, которые одновременно нужно было решать, выбирая наиглавнейшую. После работы, в которую я пытался вникнуть, наскоро перекусив, погружался в домашние дела. Не спать же на тюках! Наконец, спустя месяца два, разобрались с интерьером, расставили всё по местам!

Новых знакомых, впоследствии побывавших у нас в квартире, удивляло многое, но не так, как предвкушала жена, а совсем наоборот.

– Вы что, – в один голос говорили они, будете жить, как старорежимные, в этом махровом капитализме, с этими жуткими картинами, с рухлядью этой? С этим буфетом, комодам и огромным трюмо? Фи! Отстали от моды.

Сейчас новые тенденции! Мебель светлая, лёгкая, сборная! А посуда? К чему этот вычурный фарфор, когда всего полно из фаянса? Разбил – не жалко, а тут ешь и трясись, как бы не задеть, не опрокинуть, не разбить! А портьеры из прошлого века? Уму непостижимо! А хрустальная люстра? Боишься головой задеть! Живёте, как в музее, право слово. Нет, ребята, у вас быть в гостях напряжённо, лучше уж вы к нам.

После таких откровенных, категоричных до неприличия слов, жена моя скисла, сникла, «богатство» моих предков её больше не радовало. Именно моих, я не оговорился, раньше-то было – наших. Моя жена из семьи партийных работников районного масштаба. Войдя первый раз в наш дом для знакомства с родителями, от восторга чуть, как сама говорила, «с уму не спятила». Дыхание перехватило у бедной! Созерцая картины, при одном упоминании имён художников, написавших их, моя будущая жена чуть в экзальтацию не впадала, право слово!

– Я будто в дивном музее, будто в дворянской усадьбе очутилась, – восклицала она.

Потом, став моей женой, и уже после смерти родителей моих, с гордостью, перед застольем водила гостей по нашему дому, и я видел, как она упивается восторгами теперь уже других. Сколько при этом в ней было напыщенности, достоинства, важности! Но вот, переехав в город, она заговорила по-другому.

– Я хочу поменять тут всё, – с раздражением восклицала жена, – от людей стыдно, живём в хламе, как старорежимные старики, право слово!

Это пришло ей в голову после высказывания гостей, уже позже.

Надо пояснить, что мой род хоть и старинный и довольно известный, но никогда выходцы из него не барствовали, не кутили, денег много не имели и не разбазаривали их по кабакам и другим значным местам. Жалованье своё получали по труду, награды – по заслугам. Это инженеры, учёные, архитекторы, которых при любой власти ценили, а трудились они на ниве укрепления и прославления России. Просто жили достойно, как принято было в те века. Мебель, посуда были свободно в продаже. Картины – подарки друзей-художников, мелкие безделушки – увлечения женской половины семьи, за два века. Да, вот что умели мои предки, так это приумножать и копить, не транжиря. Это факт!

Ну а пока я растаскивал, расставлял по местам наметенным эту мебель, вешал портьеры, распаковывал книги. Да, вот книги точно – богатство нашей семьи. Моя жена с удовольствием указывала, куда и что поставить, предвкушая, как поразит новых гостей интерьером. Короче говоря, до полуночи копошились потихоньку, не желая мешать соседям. А они уже косо стали посматривать при встрече возле лифта. Конечно, кому же понравится возня за стенами, так затянувшаяся. Да ещё бой часов, да занятия сына на фортепьяно.

Вся эта городская жизнь отвлекла меня от тоски по дому своему. Я несколько остыл от самобичевания, с головой ушёл в доверенную мне, ответственную работу. Появились и новые знакомые, приятные семейные пары, которые приглашали нас в гости, да и мы не сплеховали, пригласили к себе на новоселье. Вот тут мы и услышали их мнение о нашем быте. Да-а-а.

На всегдашнем нашем семейном совете решили на деньги, оставшиеся от продажи дома, «шикануть», съездить

на юг летом. Да не на недельку, а на целый месяц, средства позволяли. Правда, загвоздка была за мной, отпуск я пока не заслужил. Надо отработать определённое время, чтобы иметь право отдохнуть. Возможно, даже, что мои дочадацы поедут одни, без меня, ведь педагогам отпуск предоставляется большой, и он, как правило, летом, да и сын на каникулах. К тому же, мы в копилку подкладывали постоянно. Нужно было гараж приобрести, чтобы машина не стояла перед окнами, вызывая недовольство соседей. Можно было занять и садовый участок за городом. Жена, после жизни в селе, не мыслила себе существования без собственного «кусочка природы». Идею эту, как и все другие, вынашивала именно она, была инициатором. Я же пока не спорил, надеясь, что затее её что-то помешает, и погрузился в работу целиком и полностью.

Прошло полгода, вроде втянулись все мы в новую жизнь. Как-то был назначен у нас на главном почтамте семинар. После перерыва и я должен был выступить с докладом по своему профилю. На семинар съехались работники связи с разных районов области. В зале я увидел своего бывшего сослуживца. Во время перерыва мы ринулись друг к другу, крепко пожали руки, обнялись и присели в сторонке поговорить. И вот тут-то он меня просто ошарашил:

– А знаешь, что удумали новые хозяева дома?

Я, сразу почувствовав недоброе, внутренне весь съёжился.

– Сначала раструбили по селу о том, что владеют богатством в виде золотых червонцев, а затем решили их достать из-под дома.

– Как так, – пришёл в ужас я, – это же не деревянный дом, который можно поднять на домкратах хотя бы?

– Во-во, так им и сказали, но они не отступились!

Нанял брат хозяйки двоих алкашей и те стали долбить сразу с двух углов кувалдами, выбивать кирпич.

– Вот же варвары, – не смог смолчать я, лицо моё пылало от негодования, – а сам хозяин, неужто позволил? Он мне показался мужиком неглупым.

– Да ещё до этого их решения он разругался вдрызг с парочкой, ему указали на дверь! Теперь он, кажется, опять в своей деревне скотом занимается.

– Вот оно как! Да, беда прямо, – грустно покачал головою я, – ну, и как успехи их, добыли клад?

– Так нет же! Выдолбили, выкрошили и принялись шарить, да не нашли! Опять начали выбивать, но тут раздался скрежет, жуткий треск, дом наискось, на глазах у всех, треснул! Да и внутри тоже, печь кажется, лопнула.

Зевак было много, базарный день выдался. Все слышали, как дом треснул, ругали их, осуждали, да они такой хай подняли:

– А-а-а! – заорали, – надули нас! Золота нету, да и сам дом развалюха, старьё гнилое подсунули! В суд пойдём, жаловаться станем. За всё буржуи ответят, – даже кричали, – богатеи-недобитки! Это про вас, так все поняли.

Люди их пытались окоротить, заткнуть, да куда там, понесло. Правда, пришёл милиционер, и все разбрелись кто куда, а этим горлохватам он пригрозил КПЗ.

Что тут скажешь? Как я прочитал доклад, и не помню. В висках стучало, сердце щемило. После семинара все отправились обедать, стол был накрыт, я же устремился к себе домой, рухнул на диван и закрыл сверху голову подушкой. Так пролежал примерно с час, до прихода жены и сына. Разговаривать мне не хотелось, ещё всё kloкотало в груди, меня поняли и оставили в покое, прикрыв дверь в комнату, тихо беседовали на кухне.

К ужину я вышел в каком-то «пришибленном» со-

стоянии и, не дожидаясь расспросов, видя изумление и тревогу в их глазах, сел к столу и всё сам рассказал. Повисла тягостная тишина. Что тут скажешь? Вяло поковыряв в тарелке вилкой, я, а вслед за мною и члены моей семьи, отправились спать. «Утро вечера мудренее», как говаривала моя незабвенная бабушка.

Следующий день был выходной, но часов в восемь раздался настойчиво-пронзительный звонок во входную дверь. Пока я лихорадочно натягивал домашние брюки и неуклюже, со сна, совал ноги в тапки, звонок неустанно дребезжал. В тревоге поднялась и жена.

За дверью, к нашему изумлению, стояли покупатели дома! Вид был у них «взъерошенный», настроены по-боевому, о чём и заявили прямо там, на площадке, и требования их гулко разнеслись по сонным этажам:

– Крохоборы! – вскричала новая хозяйка нашего дома, – гнильё подсунули, забирайте обратно! Верните наши деньги!

Я замер в оцепенении, но только не моя жена. Она за рукав втянула в прихожую кричащую, брат перешагнул порог сам.

– Чего бунтуете, – закрыв дверь, резко спросила моя жена, – вы не в поле, чтобы глотки драть. Дом спит. Сейчас каждый жилец может вызвать сюда милицию, и мы с превеликим удовольствием вас сдадим «в кутузку», – в воздухе витал запах алкоголя, видимо, выпили для храбрости, – а то, что вы пьяны, только усугубит ваше положение.

Примолкли вроде. Не желая приглашать неожиданных гостей в комнату, мы выслушали их гневную тираду в коридоре. В общем, то же самое, что уже слышал накануне. Я, раздражаясь на себя, стоял столбом, но моя жена нашлась:

– Все документы оформлены должным образом и законно, все подписаны двумя сторонами. Так? Так! Вы по

незнанию, а скорее, по невежеству и глупости, принялись крушить старинный дом. Он отреагировал на ваше варварство! Вы пострадали материально, а мы морально, так как есть показания множества свидетелей, что вы нам, заслуженно уважаемым людям, нанесли при всём честном народе оскорбления, унизили честь и достоинство. За это в кодексе есть статья, и мы намерены подать в суд.

Непрошенные гости быстро переглянулись:

– Забирайте его назад! Нам такой дом не нужен, понятно? – выкрикнул братец теперешней хозяйки дома.

– Закон обратной силы не имеет, сделка состоялась! А с вами вообще разговора быть не может! Вы кто? Пустое место в купле-продаже. Где сам покупатель и его запоздалые претензии? – наконец, пришёл в себя и я.

– Он на меня дом переписал, подарил, – уже тише, понимая, что всё может кончиться плохо, пояснила хозяйка дома, – мы с ним «разбежались».

Короче говоря, условились мы, что подумаем и пришлём телеграмму о нашем решении. Но что это будет за решение, пока сами не знали. Кто был когда-нибудь в подобном положении, думаю, понял меня. Как правило, назад ничего не «отматывают», вновь владельцами бывшего имущества не становятся, это нонсенс! Но каждый, слыша о том, что любимая вещь, недвижимость или животное, к примеру, корова или породистый пёс, отданное в другие, недобрые, как потом выясняется, руки, принимается искренне страдать, горевать и бичевать себя за содеянное. Первым желанием бывает ринуться с кулаками, обругать нерадивых или жестоких новых владельцев, отобрать бывшее своё! Но всё не так просто! Часто и деньги, вырученные от продажи, уже потрачены. А здесь-то дом, не пёс, не птичка в клетке. И как быть? А если выкупить назад, что с ним, растерзанным, делать?

Кому-то может показаться, что такого не бывает, что тема надуманна. Ан, нет! Если бы было всё так просто в этой истории, то я не утруждался бы, да и читателей не стал нагружать переживаниями. У каждого своих много. Я закрылся в спальне и погрузился в размышления. Как быть? Мне на выручку, как и всегда, пришла моя жена.

– Дом нужно забирать назад. Конечно, за ту же сумму мы его не возьмём, да у нас и нет таких средств, но за половину стоимости, а может, и меньшую сумму, думаю, можно сговориться, – рассуждала она, – ну, не поедем мы на море, не купим дачу, подумаешь беда! Я вот представила, что, если бы услышала о такой истории о других людях, то нелестно думала бы о продавших. Всех нюансов никто не знает. Многие явились свидетелями того разрушения, но ведь кто-то только слышал об этом с чужих слов, так? И, возможно, мнение моё было бы на стороне купивших. Мол, «сбагрили» трухлявый особняк и наслаждаются теперь, живя в городе, как говорится, на всём готовом. И прибавила бы я, возможно, конечно, не то, что орали эти полупьяные, но что-то оскорбительное сказала бы.

Мы с тобою, милый мой, свой авторитет, дружбу многих людей, а я любовь своих учеников, завоёвывали годами, а теперь всё разрушится мгновенно! Нет уж! Нужно действовать, и действовать умно! Прежде посчитаем нашу наличность, чем мы располагаем. Посчитав, поняли, что нам предстоит много и настойчиво торговаться с ними. Как и на какие «шиши» станем восстанавливать особняк и что с этим потом делать, мы не представляли, но решение было принято единогласно, о чём мы и сообщили телеграммой. Мол, приедем в ближайшие дни. У меня было два дня в запасе, работал в праздники, ну и выходные, грядущие в плюс. Вроде, всё рассчитали.

Мы мчались по почти пустой дороге, нам только

изредка попадались встречные машины. Пронзительная синева небесного купола с неспешно планирующими коршунами в вышине, ласковые солнечные лучи, ширь полей, придорожные, стройные посадки, ранее восхищавшие нас, теперь были не замечены. Думушку думали – и как всё сложится? Наше решение вернуть всё назад казалось авантюрой, но что-то подсказывало мне: решение верное.

Дом вызвал у меня массу едва скрываемых эмоций: волнение, возмущение и, честно говоря, желание «набить морду» разрушителям. Но мало ли какие мысли посещают нас в таких тревожных ситуациях, надо сдержаться. Раствор оказался крепче самого огнеупорного красного кирпича. Кирпич выкрошился, а сетчатый, застывший на века раствор, остался целёхоньким. Трещина в стене была почти сквозною. Дом требовалось подхватить, помочь ему устоять, иначе он со временем скособочится, накренится и рухнет. Это нужно первым делом выполнить, поддержать. Грустные, давно не мытые, потускневшие стёкла окон моего милого дома равнодушно и обречённо взирали на нас. Я с тревогой вошёл внутрь. Неухоженность, затёртые, заширканые уличной обувью полы, потускневшие обои, кухонная печь серая, не знавшая полгода побелки, беспорядок – всё угнетало. Но самый большой урон нанесён печке-голландке в большой гостиной. Её наискось разорвало! Удивительно красивые, цветные, покрытые глазурью изразцы, закопчённые теперь, в сажу от того, что разорванную наискось печь пытались затопить, и сквозная, зияющая чернотой трещина, не удержала дым. Большая, трёхъярусная, хрустальная люстра, оставленная нами с огромным сожалением ввиду того, что потолки в городских квартирах низки, теперь угнетала своим внешним видом, мохнатилась пылью хрусталиков и мрачнела потускневшей позолотой. Грустное зрелище!

Наши бывшие сослуживцы, соседи и друзья, оказываются, ни сколько не сомневались в нашем решении вернуть угробленное, ждали приезда нашего, и все наперебой звали в гости и на ночлег. Было приятно. Значит, о нас помнили как о порядочных людях, это дорогого стоит. Нам сообщили, что дом, брошенный на произвол судьбы нынешними нерадивыми хозяевами, вероятнее всего, разрушили бы, он портил вид площади. Прав у районного руководства, чтобы распоряжаться им по своему усмотрению, не было, средств, чтобы откупить у тех безалаберных хозяев, тоже. Снесли бы, а на этом месте поставили хлебный ларёк или ещё что-то лёгкое в сооружении, незатейливое.

Документально обратную куплю-продажу мы совершили довольно быстро, да и о цене сговорились тоже. Мерзавцы видели, как нас встретили в селе, с объятиями, радостными приветствиями. Подумали, наверное, что если мы напишем заявление в суд, отреагировав на хамские действия и оскорбления, то наверняка выиграем процесс и им не поздоровится. К тому же, на покупку дома они ни копейки не потратили, всё оплатил бывший, в ту пору – муж.

Сошлись на сумме в треть меньшей от той, первоначальной. Не раздумывая долго, с помощью друзей нашли мы рабочих, которые принялись укреплять дом, добросовестно заделали трещину, выровняли фундамент и вообще облагородили внешне особняк. Тут-то деньги и закончились, да и наши свободные дни – тоже. Заперев дом, мы уехали в город, запланировав приезд в ближайшие дни и встречу с удивительным печных дел мастером, старцем, которого знал и мой отец и я, который регулярно чистил дымоходы и устранял неполадки печные в нашем доме. Мне нужны были совет и помощь в восстановлении голландки.

На сей раз в город мы летели в приподнятом настроении! Неустанно говорили и говорили о предстоящих работах, о материалах, деньгах и гостеприимстве людей. На

душе у меня было отрадно, я будто каялся за содеянное, и мне постепенно, кажется, прощался мой грех.

Не зная покоя и отдохновения, я работал сверхурочно, оставался допоздна, подменял своих заболевших коллег, подгадывая ещё и к выходным. Всё это для того, чтобы смело, на несколько дней уезжать из города. Деньги тоже имели немаловажное значение. Мы принялись экономить на всём.

Надо сказать, что я не забыл и всё время держал в голове то, что на чердаке имеются «залежи» исторических документов, семейной вековой, а может, и не только вековой переписки, картины, списанные на чердак ввиду того, что нуждались в реставрации или достойной раме, предметы интерьера, личные вещи предков. Нужно это всё разобрать, пересмотреть и понять их ценность и необходимость. Те, что истлели и уж тут ничего не попишешь – в утиль, но что-то же да останется. Я знал, что моя бывшая одноклассница, историк по образованию, теперь является директором музея местного. Но это громко сказано – музей! Комнатушка, выделенная школой, где кучно хранилась история целого района и живших ранее достойных памяти людской, граждан. Вот к ней-то, к однокласснице бывшей, я и обратился за помощью разобрать чердачные накопления. Она с радостью согласилась, взяв себе в помощницы двух девочек-старшеклассниц.

Я же отправился на поиски того знаменитого на всю, можно сказать, область печных дел мастера. Жил он в небольшом домишке на окраинной улочке. На стук мне открыл дверь сам хозяин, старик, убелённый сединами, с коротко стриженной аккуратной бородкой. Я напомнил о моём отце, о нашем доме. Он, кажется, обрадовался нашей встрече, заулыбался.

– Сейчас, подожди, только кашку доем, и отправимся, – попросил меня старик.

Состояние уникальной печи-голландки печника сильно удручило. Он ходил вокруг неё, качал головою, цокал языком и, в конце концов, вынес свой вердикт. Печь нужно осторожно разобрать до основания. Изразцы отделить, отмочить и отчистить от раствора. Сложить, до поры, на просушку в угол комнаты. Так же поступить и с кирпичами, очистить, желательнее сухими.

– Будем возводить заново, а ждать, когда высохнут, видать по всему, недосуг тебе, – пояснил печник и приободрил меня, – краше прежней станет. У меня на дворе ступочкой лежит старинный кирпич, в запас. Если какой расколется или не хватит его, так и быть, добавим.

В этот день пришли два его помощника и принялись осторожно разбирать печь, как и указал старик, сам же он сообщил, что завтра поутру приступит к работе и удалится. Я, как мог, помогал парням. Менял воду в корыте, щёткой тёр изразцовые плитки. Мы раскладывали их вдоль стены свободно, чтобы быстрее высохли и годились для новой сборки. Изразец – это уникальный вид обработки плиток, штучный товар, ручная работа. Внутри эти плитки полые, стукнешь по такой карандашом или палочкой – звенят! Значит, без трещинок. И крепятся к печи по-особому. На каждой из них выпукло изображена сценка в ярких красках. То пляшущий медведь, то пышная барышня в чепце под зонтиком, а на иной – и мужичок с балалайкой или ветвь с дубовыми листьями и желудями. Каждое изображение обрамлял повторяющийся орнамент. Всё это покрыто глазурью. Изразцы на печи чередовались, создавая общую картину веселья. Бликуя и переливаясь, печь приводила в восторг любого, кто её видел, являлась украшением беспорным. Такие печи когда-то, в стародавние времена, украшали царские палаты и боярские хоромы, а позже и залы купеческих домов. Один взгляд на такую печь вызывал улыбку и благо-

желательный настрой. Чувствовалось, что те, кто заказывал печь с такими изразцами, судя по теме, искренне любили русскую старину, были приверженцами русской культуры.

Наконец дошли до «подошвы» печи, и тут моя жена пригласила работников перекусить. Те вымыли руки и ушли в кухню, а я, чтобы зря не простаивать, продолжил вынимать последний ряд кирпичей. Вот тут-то и наткнулся под двумя крепко спаянными раствором кирпичами на абсолютно не похожий на кирпич предмет.

Вытащив с усилием, обнаружил в своих руках жестяную коробку из-под кондитерского лакомства. Она оказалась довольно весомой. Тщательно отерев её влажной, а потом сухой тряпицей, я прочёл еле видные слова, говорящие о том, что это шоколадные конфеты «Утиные носы» кондитерской фабрики Степана Абрикосова 1863 года. Сердце моё нещадно колотилось в груди, ладони вспотели от напряжения, в висках пульсировала кровь, а язык присох к нёбу. Это был клад! Что-то ценное оставили мне предки. Может быть, конечно, не мне именно, но потомкам своим. В необычайно взволнованном состоянии у меня всё же хватило здравого рассудка немедленно не открывать коробку, а унести и положить до поры в спальную комнату.

Когда вернулись после трапезы молодые люди, я уже поборол слегка своё волнение и, кажется, мирно продолжал отмывать изразцы.

Закончив подготовку к возведению печи, я пригласил жену в комнату, попросил не волноваться, и вынес коробку. Поставив на стол, не без труда открыл приржавевшую крышку, и на меня, представьте, пахнуло ванилью, имбирём и орехами, шоколадом, в общем, конфетами, которые находились там сто семь лет тому назад! Непостижимо! Коробка до краёв была наполнена серебряными монетами разного достоинства! Жена моя, приподнявшись со стула,

так и замерла, не смея шевельнуться! В глазах её застыл вопрос:

– Как? Это клад? Нам?

Я только утвердительно кивнул головой.

Позже, разобравшись с монетами, имея некоторые познания, я пояснил жене, что в коробке отчеканенные в 1762 году от Рождества Христова серебряные монеты достоинством в один рубль с изображением лика Петра Третьего и такого же достоинства монеты 1859 года. На этих «Монумент Императора Николая Первого на коне» и по кругу, на аверсе, «По велению императора Александра Второго Всея России самодержца 1859 год июня двадцать пятого дня». Я уткнулся лицом в рукав своей рубахи и заплакал. Теперь я знал, как поступить в дальнейшем. Из глубины веков мне мои предки протягивали руку материальной помощи, и я её принял! Я знал нескольких коллекционеров-нумизматов, которые с радостью приобретут у меня эти монеты, правда, не сразу, да и Бог с ними. У меня будут средства на восстановление особняка! А то я исстрадался о том, где взять деньги, на какие *шии* продолжать работы. Уф, камень с души упал! Наутро явился печник. Аккуратно закатал рукава рубахи, надел клеёнчатый фартук, помолился и приступил к работе. Я был у него в качестве подмастерья. Надо сказать, что за время совместного труда я много услышал и узнал о печном мастерстве, да и не только. К примеру, коротко стриженная борода у печников оттого, чтобы глиной её не заляпать, а у кого всё же и длинная, то её или в косицу заплетали или завязывали шнурочком за конец и закидывали за шею, там закрепляя. Работал мастер только одной рукой, другая всегда оставалась чистой.

– А как же, – пояснял он, – к примеру, за кирпич взяться или платок из кармана достать и нос утереть, пот смахнуть. Коли обе руки в растворе, то весь будешь «замур-

занный». Слово «грязный», применительно к раствору, он не допускал и огорчался, слыша такое.

– Да разве ж это грязь? – возмущался старик, – грязь вон на дворе, да к обувке липнет, а это – как тесто для хлеба. Плохо замесишь, тесто будет клёкое, не поднимут и дрожжи, кислый будет хлебушек и быстро засохнет. Так и раствор. Я тебе, сынок, класть по старинке стану, как меня дед мой учил.

В хорошо вымешанную, «отмученную» глину, без примесей, камешков да мелких осколков стёкла, которые, бывало, попадают при работе, старик понемногу добавлял просеянный песок и, набрав раствор на мастерок, с силой кидал в стену. При этом часть раствора прилипала к стене, но много оставалось и на мастерке. Значит, надобно ещё песка добавить. И так до той поры, пока раствор не становился однородным, а мастерок чистым после него. Теперь то, что надо! Действительно, будто тесто заводил, замешивал!

У мастера были приготовлены деревянные клинья, о надобности которых я пока мог только догадываться. Я вынужден был на некоторое время покинуть мудрого старика и отправился к девушкам, которые перебирали и сортировали «чердачные» документы. Личная переписка моих предков, открытки праздничные, с пожеланиями – отдельно, деловые бумаги – тоже, а уникальная переписка с известными людьми, знаменитостями и иностранцами, имеющая историческую ценность, – в третью. С полотен картин, овальных виньеток и фотографий в рамочках, с небольших статуэток и зеркал был ими стёрт слой вековой пыли и увиденное умилило всех троих до слёз. Помимо всего этого – дамские безделушки! Веера, лорнеты, табакерочки, причудливые черепашковые гребни, которые, ради украшения, будто короны, дамы вставляли в пышные локоны, перчатки лайковые из

тончайшей кожи, и кружевные, и многое другое, что незаслуженно было сослано на чердак в сундук. А может быть, и правильно, что лежало там до поры? Возможно, поэтому и уцелело! Не выкинули, не разбазарили, не сломали, не продали за бесценок. Годы были голодные и разорительные, тот имел кусок хлеба, кому было, что продать.

Моя бывшая одноклассница, а теперь директор районного музея, заламывая руки, молча страдала, не решаясь попросить у меня хоть что-то для музея. В душе, конечно, была уверена, что получит несколько предметов, да вон, хоть тот костяной веер и лорнетик. А вдруг, нет! Она заглядывала мне в глаза с надеждой.

Я же отправился к печнику, возможно, помощь моя ему нужна. Оно и верно. Встав на козлы, старик выводил верхнюю часть печи, и ему необходим был подручный – подавать требуемое. Завершая кладку голландки, печник, к моему удивлению, вбив клинья между крайними кирпичинами и потолком, позвал меня:

– А ну-ка! Попробуй! Печь ходит по раствору иль нет?

Я пробовал и понимал, что кладка живая, дышит! Стало быть, правильно сложена печь, не будет трескаться и сыпаться. На славу сложена! Печь сутки стояла, дышала, а потом мастер выбивал клинья, и она досыхала окончательно и только тогда затапливалась. Кстати, дверки в печь, поддувало и печурки чугунного литья не уступают по красоте изразцам.

После обеда, над которым трудилась жена, угощая всех участников восстановления особняка, мы с печником вышли на воздух, закурили. Там он рассказал мне, что русская печь в нашей кухне поставлена на «салазки», не на землю, Боже упаси, и никогда «намертво». Печь – живой организм! Сами «салазки» складывались из деревянных «кру-

гляков». Углы крепились односторонним, замочным пазом. Между стеной дома и задним боком печи имеется прогал, запечье. Небольшой, но необходимый промежуток, чтобы тепло исходящее от печи циркулировало, обогревая помещение. «Ходи хата, ходи печь, хозяину негде лечь», вспомнилась тогда припевка.

– Не улицу же обогревать, – разумно заметил старик, – тёплый воздух гулять по дому должен. А вот в подустье печи обычно складывали ухваты, кочерги, хлебные лопаты. Там песочек насыпан, от греха подальше, чтобы дом не сторел от раскалённых печных принадлежностей. Печь в доме Вашего отца я знаю, каждую её кирпичинку! Салазки там уникальные, скажу так. Печь та, русская, «на воздушьях плавёт». Стоит на деревянном опечье из надёжных брёвен, и, хоть существует много видов замочных пазов, и в «обло», и в «чашку» с потаённым шипом, и в «лапу», и в «тёплый угол», однако ваша печка замкнута в «ласточкин хвост», и это правильно! Много раз её чистил от сажи, подправлял, если надобность в этом имелась, всё про неё, родимую, знаю.

Велик русский народ, мудр! И с этим удивительным домом, возведённым такими чудо-мастерами, я позволил себе расстаться! Ну и глупец же я был!

Во время работы по восстановлению родового особняка сын наш гостил у родителей жены. Сама же она, помогая мне, ночевала у своей подруги, с которой раньше вместе работала в школе, а я – в доме на русской печи, которую ещё не затапливал. Приносил из машины спальный мешок, подушечку-думку и, взгромоздясь на печь, «плыл» в своих воспоминаниях, прислушиваясь к потрескиваниям, поскрипываниям, пощёлкиваниям, звучащим ночами в доме.

Теперь же, оставив ключ печнику для дальнейших работ, мы отправились в город, где нужно было решить массу вопросов и самый немаловажный – добыть деньги,

чтобы иметь возможность расплатиться с работавшими людьми. Мы с женой решили, что придётся заказать вновь машину и привезти обратно мебель, безусловную принадлежность именно этого дома и вторую люстру, которую сняли, уезжая, с потолка особняка в столовой. Великовата, громоздка она для городской квартиры, верно замечали и язвили гости, задевая её головами.

Только в дороге почувствовали себя усталыми, невыспавшимися, неухоженными. Завтра на работу. Нужно привести себя в порядок и выспаться. Короче говоря, за несколько дней я созвонился со знакомыми мне нумизматами, и они были так воодушевлены, что приобрели у меня несколько монет, пообещав свести с другими, интересующимися покупкой.

В село мы поехали дней через десять с деньгами, чтобы расплатиться с печником, людьми, восстанавливающими фасад особняка, не забыв снять люстру, чтобы водрузить её на прежнее место. Мы с женой решили так. Если голландка полностью закончена, то можно будет возвращать мебель. Надо сказать, что население райцентра неоднозначно отнеслось и к нашему отъезду, и к нашему возвращению. Судачили, одобряли и злословили на все лады. Но, как говорится, «на всякий роток не накинешь платок». Вот и мы мудро рассудили – пусть поговорят. Мотаться между городом и селом тяжело, нам был необходим отдых, поэтому работы мы заканчивали.

Завершая эпопею с домом, по которому мы приняли на семейном совете единственно верное решение, прежде всё же надумали устроить ужин, пригласив друзей, которых обременяли всё это время и, конечно, мою бывшую одноклассницу, да и печника тоже. Нам помогли родители учеников жены, которые знали в городе все «ходы и выходы», и на стол к прощальному ужину удалось «достать» несколько

палочек «Летней» колбасы, шпроты, болгарские консервированные овощи, компот из персиков в банках, пошехонский сыр, шоколадных конфет «Ассорти», ну и купили свободно в «Гастрономе» несколько бутылок «Гавана клуб» и ром «Негро», короче говоря – затоварились.

Печь поразила своим великолепием! Мне кажется, что она стала ещё красивее и величественнее. Видимо в былые века в этом, довольно обширном зале танцевали, вальсировали, кружились пары вокруг неё. Помнится, есть выражение «танцевать от печки», не случайная фраза. Ещё три спальные комнаты: будуары в доме, просторная столовая и отдельно кухня, кладовые и чуланы. Что говорить, особняк всегда был «лакомым кусочком» для руководства районного центра, во все послереволюционные времена, но то полезное, что сделали мои предки для страны, являлось некой охранной грамотой от присвоения, захвата или разорения.

На прощальном ужине собрались приятные нам с женой и доброжелательные люди. Стол женщины накрыли совместными усилиями, правда, сесть было не на что, мебель ещё мы не привезли, да и не хватило бы всё равно.

Когда мне дали слово, я поблагодарил всех за помощь, за дружбу, высказывал надежду на встречи в дальнейшем и в конце сказал:

– Когда оформляли куплю-продажу этого моего наследственного дома, то из документа одного я узнал о том, что предки заложили в его фундамент золотые монеты, четыре червонца редкости большой. Это явилось в дальнейшем неприятным развитием событий, которое послужило возвращением дома к нам, прежним хозяевам. Да что говорить, все наслышаны о том, как алчные люди принялись крушить это здание. Я же, узнав про монеты, призадумался тогда, почему не просто червонцы, а именно те, безликие, но

с выдающейся надписью заложены были. «Не намъ, не намъ, а имяни твоему» – отчеканено на них. В этом крылся и весь смысл. Я решил подробнее узнать, о чём же речь. В библейской книге Ветхого Завета эта строка отражала смысл и звучала в переводе на русский так: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай Славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей». Подумав хорошенько, мы семьёй решили подарить этот особняк районному краеведческому музею в вечное пользование, так как места достойного он не имеет и ютится временно в школе. Вот, видимо, в чём будет и милость, и истина. Впрочем, каждый подумает по-своему над этими словами. Сами видите, достаточно просторный, вместительный особняк в центре села, на будущей неделе и мебель вернём сюда. Завтра официально я оформлю дарственную.

Директор музея, моя бывшая одноклассница, кинулась мне на шею и со слезами принялась благодарить, не ожидая такого подарка.

Не стану описывать, что следом за этим началось! Замечу только, что решение было правильное. Ни я, ни мои близкие ни разу не пожалели об этом. Кстати, и документы, и картины, и другие предметы наших предков, нашли там свои законные места. Было отраднo, что моим душевным сомнениям и мытарствам пришёл конец.

А причиной тому стали четыре золотых червонца, заложенные в фундамент дома для того, чтобы в нём царило благополучие, мир и процветание. Да так, собственно, и вышло, в конце концов.





**Вера
БОГДАНОВА**

Земляничное утро

Рассказ

В середине июня, когда колосится трава, начинает поспевать луговая земляника, которую ошибочно называют клубникой за крупные ягоды и сладкий вкус. Она растёт по склонам оврагов, по берегам рек и озёр, где много влаги. Земляника – скромная ягода, прячется от глаз, но поспевшие красные плоды её нельзя не заметить, а в сильную жару весь воздух пропитан её ароматом.

Земляника ни чем не сочнее винограда или арбуза, не мягче хурмы, не слаще дыни и, безусловно, она не самый вкусный плод на свете – каждый фрукт, овощ или ягода хороши по-своему. Но поездка за земляникой составляла для нас такое необъяснимое очарование, какое никогда не обретёшь в походе в супермаркет за килограммом апельсинов или бананов.

И мы обычно всё ждали, когда же папа нам скажет:
– Детишки, ну что, – за ягодкой завтра слетаем?!
– Да! Да! – отвечаем мы и сразу бежим во что-нибудь играть, скачем с собаками, смеёмся и напеваем песни.

Иногда папа предлагает «сгонять за земляничкой»,

а сам утром начинает отбивать косы и тогда ему лучше совсем ничего не говорить о поездке, потому что он ответит примерно в таком духе: «Какая земляника?! У нас дел по горло! Трава стоит некошенная, сена такие пропадают... А зима спросит! Собирайтесь косить!»

Заготовливать сено на зиму необходимо, мы живём на хуторе и всем обеспечиваем себя сами: сами косим, привозим сено, воду с речки, сами со скотиной управляемся, выводим коров и лошадей в луга, ставим их на цепь, днём перебиваем на другие места, когда они всё съедают, доим, возимся с телятами и ягнятами. В общем, работы у нас хватает каждый день.

Так вот, если папа задумал работать, с ним не поспоришь, но сегодня он настроен на поездку и поэтому идёт «налаживать» велосипеды. Мы спешим ему помочь.

У папы восемь «человек детей», но за земляникой ездят только старшие: Лиза, Варя, Вера (то есть я), Петя и Паша. Соответственно, велосипедов в строю должно быть шесть, учитывая папин. Из этого расчёта ясно, что «колу-паться» с ними придётся долго.

Папа осматривает транспортное средство, вышедшее из строя, ставит диагноз и приступает к лечению.

– Цепь надо смазать, покрышку поменять, сиденье отрегулировать. Вер, носи ключ 14 на 17.

Бегу в терраску к инструментам, копаюсь в папиных ящиках, перебираю гвозди, шурупы, шпингалеты, гайки. Папа зовёт:

– Ну, ты идёшь или нет?

– Щас, я ишу...

Через полчаса его терпение на исходе.

– Я долго буду ждать?! – спрашивает он сердито. – Там этих ключей море! Пойду сам найду быстрее. А, нашла, ну, молодец! Теперь принеси мне вот такую шайбу.

Приношу множество шайб на выбор, папа берёт одну.

– О! Во-во-во! Вот эта мне и нужна! – говорит он, смазывая эту шайбу солидолом. – У отца всё есть! Отец запасливый, ничего не выкидывает. Это алкоголикам ничего не надо, кроме вина. А я детали находил, собирал потихоньку, потому что знаешь: где-нибудь да понадобятся. Ни одной железяки не выкидывал, всё в дело пускал. Остальные унеси туда же, они нам ещё пригодятся.

Иду уносить.

– Принеси ещё кусочек проволоочки! – просит папа. Бегаю по двору, высматриваю проволочку.

– Ладно, не ищи! Я уже по-другому сделал! – говорит папа, ковыряясь в багажнике велосипеда. – Я болтик твой сюда присобачил. Закрутил намертво! Попробуй рукой.

– Ага!

– Ну вот. Принеси напильник.

Напильником мы зачищаем кусок камеры, чтобы этим куском заклеить другую камеру.

У папы все руки в солидоло, даже нос и лоб, потому что его кусают комары и приходится их смахивать грязными руками. Папа перебирает все части велосипеда, которые кажутся ему ненадёжными.

– Тяп-ляп не пойдёт, надо делать, как положено, – говорит он, рассматривая втулку от заднего колеса. – Вон, у Вани Лейтенанта двадцать велосипедов на чердаке стояло – и все сломанные. Ремонтировать он не умел. Голова не работала. Когда башка не варит – это страшное дело. Ну вот, теперь он как новенький! Цепь я смазал, он уже не скрипит и сиденье не шатается. А то ходило ходуном. Как тебе?

– Хорошо! – радостно отвечаю я.

– Иди, прокатнись!

Велосипед едет тихо и мягко, кажется, что он всем

доволен, не дребезжит, не просит: «Сде-лай, сде-лай!».

Когда заканчивается эпопея с велосипедами, во дворе уже совсем темно. Зато все велики проверены и готовы к бою. Папа идёт отдыхать, а мы бежим на футбольное поле. Играем, пока мама не крикнет нам со двора:

– Ребята, я коров подоила, идите выводить!

Лето – пора оводов и слепней. Они грызут животных в вымя, в глаза и в живот. С наступлением темноты они прячутся в траве до тех пор, пока новый день не засияет и тепло не обогреет поля. Из-за оводов мы выводим наших животных ночью и пригоняем утром, поим и заводим в котухи, где нет этих кровожадных насекомых. Но сегодня мы поставили коров у двора, по настоянию папы, чтобы они объели непомерно выросшие травы, и тем самым «обезопасили» двор от осенних пожаров.

А солнце, как назло, заходит в тёмную тяжёлую тучу. Всё вокруг чернеет, накрапывает дождик. Каждая капля смывает нашу мечту о землянике...

Папа ходит по двору, подставляет фляги под концы крыши, откуда обычно стекает дождевая вода и торопит нас:

– Занесите вещи в дом! Всё вымокнет. Сбруя почему до сих пор на улице?! Вот и съездили... ну ладно, утро вечера мудренее, посмотрим...

Мы засыпаем уставшие и недовольные.

А ранним-преранним утром, когда ещё все мухи спят, к окну подходит папа и, постукивая пальцами по стеклу, говорит:

– Детишки вставайте! Поехали за ягодкой. По прохладце прокатимся.

Лиза с Варей подрываются, точно на фугасе. Они смахивают одеяла и начинают быстро экипироваться, зудя нам под уши:

– Люди, Вер, Петь, вставайте! Чё спите?!

Мы нагло дрыхнем. Тогда Лиза применяет очень действенный метод.

– Варь, поехали без них. Пусть они спят!

Мы тут же взлетаем с коек. Начинаем собираться.

На улице слышен громкий папин голос:

– Оль, ты подоила? – спрашивает он маму.

– Да, Юра.

– Налей мне молочка парного... Вот в эту баночку, да ничего страшного... Всё, хватит. Молоко, аж, сладкое, хорошая у нас коровёнка, не зря мы её оставили. Это свой продукт, у нас всё своё, мы ни от кого не зависим, никому не кланяемся, да, Оль?

– Да.

Скоро проснётся Тоня и скажет, потянувшись: «Мам, дай мне могога! Токо Троиного!» Мы пьём Троино молоко, потому что корова Ночка даёт горькую настойку из полыни вместо молока. За это её все ненавидят. Она постоянно срывается, бегаёт по оврагам, жрёт сорняки, бьёт ногами и хвостом в лицо, когда её доишь, и вырывает волосы вместе с репьями, которыми облеплен её хвост, вступает ногой в ведро с удоём и в довершение этого отвратительного списка Ночка ещё и совершает набеги на огород. Если во дворе слышится крик наподобие: «Стой, тварюжка!», значит, мама доит Ночку. И хоть маму очень трудно вывести из себя, Ночке это с лёгкостью удаётся.

Пока мы одеваемся, Петя выходит на улицу, и «попадается»:

– Ку-уда? Босиком не носись по холодной земле! Простудишься! – отчитывает его папа. – Воспаление лёгких схватишь, и будем потом по больницам ходить... Ты со здоровьем не шути! Это тебе не игрушка! Одень щас же обувь! И не давай Бог я ещё раз увижу, как вы босиком на улицу выбегаете! Во! Молодец! Другое дело! Вот это сын! Пойдём, пчёлок глянем.

В это время я, надев штаны, кеды и куртку, выхожу на улицу. Дождя ночью не было, так, покрпало слегка, но ветер гонит серые тучи, похожие на волны океана. И от холода волосы на руках и ногах встают дыбом.

Корова Троя спит, свернувшись, как котёнок, даже хвост прижала и прикрыла мохнатыми ресницами глаза. Овцы лежат друг на друге, словно одна большая куча чёрно-белой шерсти. Собаки тоже вместе сгруппировались и греются.

Папа ходит по огороду в картошке и собирает в руку жуков.

– Вер, иди сюда, – говорит он. – Ты ещё не видела свой огурчик?

– Нет. – Улыбаюсь.

– Аккуратно ступай, тут, у плетни? Вон он, видишь? Я его вчера поливал.

– Большой!

– Как же, я за ним ухаживаю. Первый огурчик всегда тебе как имениннице. К твоему дню рожденья как раз пойдёт.

Пока мы ходим вокруг уплетней, мама собирает детей в дорогу: моет ведра для земляники, ищет кружки, завязывает рюкзаки. В поездку за ягодой мы берём ведра, кружки для удобства собирания ягоды, велосипедные ключи и насос.

– Варя, вы всё взяли? – спрашивает мама. – Пашутка, ты надела носочки? Петя, а ты?

– Да! – отвечает Петя.

– А сапоги у тебя не рваные?

– Да вроде нет.

– Ну, хорошо!

– Головные уборы пусть наденут! – строго распоряжается папа, копаясь в железках у дома.

– А, да, я же их приготовила! – говорит мама и убегает в дом, из которого выносит пять фуражек.

– О, вы уже готовы! – удивляется папа, заноса в дом лопаты, тяпки, удочки, всё, что мы часто бросаем «как попало» у дома. – Сколько раз говорил: не оставляйте на улице инструменты. Мало ли кто подойдёт – схватит!

Мы посмеиваемся: кругом не обитает ни души, люди бывают в наших местах совсем редко: по большим праздникам, в прямом смысле слова. Кому нужны наши старые лопаты и тяпки? Но папа прожил больше нас, и знает, что своровать могут всё, что угодно. А мы же ещё исполнены к людям добрых чувств и считаем, что папа не прав, подозревая всякого.

Покончив с лопатами, папа берёт свой велосипед и говорит маме:

– Оль, дай мне клочок бумажки, я одну деталь запишу.

Папа – писатель. Вся его жизнь наполнена осмыслением событий в стране и мире и поиском гуманистических решений любых вопросов. Даже собирая жуков, он повторяет про себя важные фразы, чтобы потом записать их и сделать статью. Его статьи почти никто не печатает, потому что многим всё равно, а он страдает от того, что его идеи могли бы служить всему миру во благо, но не служат.

– Э-хе-хе-хе... – говорит он, записав «деталь» и добавляет. – Оль, прочти. Поехали, ребята. Закрывайся! – кричит он маме. – Никого во двор не пускай, ни с кем не разговаривай! Мы здесь одни!

– Доброго пути! – кричит мама и машет рукой.

– Счастливо оставаться! – отвечаем ей мы, уезжая.

Она долго стоит, провожая нас взглядом, пока мы не скроемся из виду. Она никогда не ругается, не сердится на нас и очень нас любит, как, наверное, никто чужой никогда

любить не будет. Но мы этого ещё не знаем. Папа тоже нас любит, но своей строгой отцовской любовью, в которой он никогда не признается словами...

Чтобы попасть на Майку или под Крутец, где полями растёт земляника, надо перебраться с нашей Тамбовской стороны на Саратовскую через речку Карай, что течёт у нас под горой. Мы спускаемся в низину, где ивы своими зелёными шапками закрывают небо. Тут полно обжигающей крапивы и писклявых комаров, утрами ужасно холодно и пахнет сыростью.

А там, на горе за лесом ветер переносит ароматы цветов.

Папа идёт впереди, топчет своими большими ногами крапиву, сгибает лопухи, обламывает ветки.

– Об эти палки глаза можно выколоть! Ночью напорешься – не заметишь! – Он отбрасывает сучки далеко в сторону, чтобы не мешались.

После папы дорога словно побрита: без палок, крапива смята, лопухи сломаны у корней, можно идти спокойно, не обжигаясь, не спотыкаясь!

Папа расчищал для нас все дороги...

Иногда мы отправляемся за земляникой на лошади, но для телеги мост из одной доски мал, да и жеребец Руслан всегда упрямится около ручья, вброд боится переходить, он не раз уже с телегой увязал тут глубоко в тине... Оттого мы ездим на нём по другой дороге – верхами, это объездной, более длинный путь через плотину в селе Сальники.

Вот, бывало, усядемся мы все вшестером на нашей деревянной телеге, колёса шумят, телегу слегка потряхивает, бежит конь, машет хвостом, мелькает трава по бокам. Хорошо!

Папа держит вожжи, мне доверена хворостинка или кнут: когда как.

Но Руслан – не рысак, не беговая лошадь, его сила в выносливости. Он может пройти в день сотню километров с грузом по глубокому снегу, но от него не дождёшься сумасшедшей скорости. Бежит он первые два-три километра неторопливым бегом, покачивая своей умной головой. А потом начинает экономить силы. Экономист он хороший.

– О, как конь несётся – настоялся! – радостно кричит нам папа, перекрикивая гул от шумящих колёс и стучащих копыт. – Лиз, смотри, какой жеребец стал гладиций! Он взялся за силу, а то весной еле ноги таскал, кормов не было, а щас трава вон какая, уже косить можно. Вот сюда придём, тут хороший покос! Коси – не хочу! Тут и клеверок, и пырей, и повитель есть.

Через некоторое время Руслан, как и полагается, переходит на мелкую трусцу, а затем и вовсе на шаг.

– Хэ, давай! – подгоняет папа. Руслан три метра пробегает в галоп, затем снова идёт пешком.

– Но пошёл! – сердито кричит папа, дёргая вожжи. – Я те чё сказал?! Давай иди! Остановился он! Устал! Я тебе остановлюсь, тунеядец! А, он оправиться хочет... Ну ладно...

Руслан наваливает кучу на дорогу и снова идёт шагом.

– А ну пошёл, чёрт лохматый! Кормил тебя две недели, как на убой! Жопу отрастил, а бежать не хочешь! Ты у меня дождёшься лупцовки. Я тя щяс высеку до посинения! Вер, шутни его, но не бей...

Я замахваюсь палочкой, но действия это не производит.

– Пусть трусит! – говорит папа. – Щас доедем до той посадки, а там под горку он побежит. Он устал, шутка ли:

шесть человек людей везёт. А ну давай вперёд, татарин! Разбухтелся!

Папа называет Руслана татаринном, потому что татары разводят лошадей, а кто-то сказал папе, что наш конь татарской породы.

Через какое-то время папе надоедает погонять коня, да и я устаю на него бесконечно замахиваться, и мы успокаиваемся. Кругом зелёный простор до самого горизонта, где поля обнимаются с небесами, как добрые друзья. По бокам дороги цветёт клевер, донник, колокольчики, мышиный горошек, гвоздика, иван-чай, цикорий. Папа радостно рассматривает дали и запекает песню: «Гляжу я на нэбо, та й думку гадаю: чему я не сокил, чему не летаю?...» А травы всё мелькают-мелькают, удаляются родные места, уменьшается наша церковь, остаётся позади родной дом.

Но в основном мы ездим на велосипедах, поэтому надо подниматься в гору. На горе среди цветов есть наша тропинка, ведущая к дороге.

Мы бежим по ней с велосипедами, измокая в росе, счастливые, радостные. И эти играющие на солнце росинки под ногами такие же хрустальные и чистые как детские сердца, открытые миру и открывающие этот мир.

Тем временем угроза дождя миновала. Серые тучи ускользают вдаль на запад, расчищая небо.

– Денёк разыгрывается! Светлынь какая! Бог нам дал погоду! – кричит папа, садясь на велосипед и устремляясь на рассвет к земляничному краю. Мы спешим за ним с вечными нашими спутниками-собаками: Пусей, Пасей, Мусей и Жулей.

С дороги, перепуганные нами, разлетаются кузнечики и бабочки.

Вот навстречу пастух гонит стадо коров. Он сидит

на коне, в его руке длинный кнут и рядом парочка сварливых собак. Это Куренок. Он проезжает рядом со словами: «Здорово, Петрович! Куда собрался?»

– За ягодой!

– А... Ну да, она, наверн, уже дошла.

Коровы смотрят на нас с удивлением, одна телушка даже подходит близко к лизиному велосипеду, понюхать, она совсем юная и очень любопытная. Лиза гладит её по мокрому носу.

Прорвавшись через стадо, мы продолжаем свой путь.

Перед нами поёт и шаманит деревня Сальники. Она наполнена множеством звуков. Кто-то стучит кувалдой по колышку, прибывает лошадь, чтобы она, гуляя на цепи, никуда не убежала (для этого надо вбить кол достаточно глубоко в землю). Кто-то выпускает из курятника куриц, которые с криками «кур-ку-ру-ру» вылетают во двор. Везде лают собаки: большие – «быв-быв», маленькие – «а-тя-тять-а-тя-тять», мычат телята, крякают утки, хрюкают свиньи, дрендят трактора. Вот мимо нас проезжает мотоциклист с женой, что обняла его сзади. В люльке у них ручная коса и зелёное сырое сено. Они уже с утра по росе накосили его своим телятам и свиньям.

Встаёт розовое солнце, ещё прохладное, но такое ясное, как цветок, от него вся округа насыщается светом и радостью. Всё начинает блестеть и сверкать. Каждая травинка в каплях росы, чуть пригнулась, держит эти водяные капли, сияющие своей родниковой чистотой.

Весь луг сбоку от дороги такой цветущий и такой живой, он смотрит на солнце, раскрываясь и распестряясь. И поляны кашки, клевера, иван-чая, цикория, ромашек и колокольчиков сверкают как острова сокровищ!

А мы едем дальше. Вот пошла накатанная чёрная до-

рога между Сальниками и деревней Сиротка. По ней часто ездят крестьяне друг к другу и в другие сёла, а те из них – сюда. Проезжают по ней автолавки с продуктами, трактора, комбайны, машины, телеги, велосипеды. Слева от дороги высокая пшеницы рать встала тесной стеной, словно на защиту своей земли с высокими копыями из колосьев. Справа от нас поле под парами, такое же цветастое, как и луг, только трава на нём выше, потому что для отдыха поле вспахивают, и земля там куда мягче, чем на лугу, где часто ходит скотина и топчет землю копытами. Проезжаем одно поле, половинку второго и попадаем на высокий грейдер – грунтовую насыпь без асфальта. Грейдер хорошо накатан, но трактора разбили часть его полотна, видны последождевые ямы, навороченные тяжёлыми колёсами, вертишь велосипедом, чтобы не налететь на куски земли. Папа едет впереди, за ним бегут собаки и лают на все движущиеся объекты.

По бокам розовые, жёлтые, синие пучки цветов. Каждая травинка цветёт и каждая бесподобна! Даже колючки прелестны и даже та, что у самой дороги, по которой все колёсами проносятся, вдавливая её в землю – и та красавица! Всё цветёт пышно, вдохновенно.

Сочные травы счастливы, у них пора свадеб... Они женятся, они улыбаются, как прекрасно быть этому свидетелем! Как прекрасно жить под васильковым небом!

Но вот ты едешь-едешь, глядя по сторонам и вдруг: хрясь! Что-то сорвалось, ты сначала думаешь: «Ну всё, кирдык!»! Оказывается, ничего серьёзного, просто цепь слетела, ставишь её назад и снова едешь.

Велосипеды у нас очень древние, никто точно не знает, откуда они взялись, поэтому со здоровьем у них плоховато. Вот оно и подводит. Иной раз соскакиваешь, а там «мама родная»: из покрышки камера вылезла, словно толстый червяк, того и гляди прорвётся!

Варя подъезжает:

– Бечкас, чё такое?

И без объяснений понимает, глядя на выпяченную камеру, что у велика грыжа. Подъезжает Петя, Лиза, Паша, спешиваются, гремя вёдрами в рюкзаках, интересуются проблемой.

Всеми своими десятью руками мы запихиваем камеру обратно под крышку. Но крышка старая, растянутая, прилегает к ободу не плотно, поэтому камера снова выползает наружу. Надо что-то делать. Но что? В безнадёжной ситуации, когда рядом под рукой нет ничего, лишь колосистая трава, трудно что-то придумать и предпринять. Но из любой ситуации можно найти выход, имея на плечах работающую единицу. Техника служит тогда, когда служит голова. Крутишь педали в мозгах, вертятся шестерёнки, там всё едет как надо.

Мы решаем проблему за несколько секунд: достаём из рюкзака шнурок, которым рюкзак был завязан, чтобы ведро не выпало, и перематываем этим шнурком слабое место крышки, предварительно запихав туда вылезшую часть камеры. Плотнo завязываем вокруг обода шнурок и вот: крышка прижата, камера больше не пролезет, и мы спокойно двинемся дальше! Завязываем рюкзак куском тряпки и едем вперёд.

Один раз у Паши рассыпался подшипник внутри рамы, который обеспечивает вращение педалей. И всё это посреди дороги – в поле. И назад не вернёшься и вперёд далеко идти. Инструментов для такой сложной операции в нашем рюкзаке нету. Но мы не плачем. Это не про нас. Садимся в пыль у дороги с этим железным инвалидом и начинаем думать: как быть. И нам в голову приходит единственно верное решение: привязать Пашин велик к сиденью другого велика и катить её на буксире. Отлично! Привязываем к Петиному велику и едем дальше.

Папа уже уехал далеко, только спина его виднеется в старой выцветшей рубашке. Но когда навстречу нам едет машина, он оборачивается и кричит издалека:

– Уйдите с дороги!

Мы слезаем с велосипедов и встаём у обочины, пока не проедет этот грузовик и не обдаст нас приличной дозой пыли. Затем мы устремляемся вперёд и скоро догоняем папу.

– Летит, как угорелый! Отец всегда говорил: «От дураков подальше», – рассуждает папа о проехавшей машине. Видно, эта мысль его волнует. – Мало ли какой пьяный попадётся, задавит, даже пикнуть не успеете. От машины сразу в сторону надо уходить. Пусть едет. Меня с маленькой Пашей тогда в Новосибирске автобус чуть не убил, я её прям с коляской выбросил через поребрик и потом сам перескочил. И сколько таких случаев было. Людей только так давят на дорогах. Вы с этим не шутите, рот не разевайте! Отец растил-растил, а этот колёсами проедется: и нет детишки. Плачь потом, а ничего уже не сделаешь. Не-ет! Надо сразу уходить. Это мой принцип – предотвратить трагедию, а не преодолевать её. Отец у вас строгий, но дельный. А бывают отцы-слюнтяи, за ребёнка не дрожат, не берегут, это значит – до беды. А я детям всю жизнь посвятил!

Мы мчимся дальше. И всё внимание на те кусты садов, они всё ближе и ближе... У садов начинаются первые земляничные полянки.

– Пап, – спрашивает Петя, – а Майка примерно через сколько километров?

– Да километра через три... – отвечает папа, стрельнув глазом вдаль.

Это известие придаёт нам силы, мы усерднее жмём на педали, заморожено глядя на кусты, что синеют впереди. Это и есть Майка, там жила моя бабушка. Ничего уже

не осталось от этой деревни, кроме садов, заваленных сломанными деревьями и заросших крапивой... Но зато рядом целые гектары земляники. Проезжаем ещё пару подсолнечных полей. И вот она рядом! Такая близкая! И сердце твоё колотится, кажется, уже во рту, так ты рвёшься сюда. И соловьи твоей души поют-заливаются на ветках радости. Вот они знакомые листочки, из-под них выглядывают красные ягоды. Они повсюду. Куда ни глянь. Даже с дороги они видны и даже с дороги чувствуется их аромат!

Земляника – первый плод средней полосы, первые витамины, первое чудо. Ещё ничего не поспело: огурцы только растут, вишня ещё кислая, крыжовник зелёный, смородина зелёная, а вот землянику можно есть!

Но урожаи её не всегда одинаковы. Иной раз приезжаешь, а все поляны пусты, одни листья зеленеют, без ягод, даже самых маленьких. Это значит: не уродилась.

А бывает и так, что ягоду до нас вместе с травой покосили на сено коровам и увезли на тракторе.

Иногда ты приезжаешь, опоздав, ягода была, но отошла, сжарилась на солнце, высохла. Надо было раньше ехать.

Однажды мы отправились за земляникой в довольно пасмурную погоду, с утра было хорошо и прохладно, папа радовался, что не замучают овода, и мы прокатимся на телеге. К середине пути Руслан устал, пошёл пешочком, а тут ещё дождь хлынул. Вылилось сразу столько воды, что, казалось, на небе плотину прорвало. Мы вымокли до нитки. Но лучше бы этот дождь не прекращался, потому что земля – как тесто. Когда в него добавляешь воды, оно жидкое, клеится к рукам тонким слоем. Но более густое тесто прилипает уже кусками. После дождя земля впитывает в себя основную влагу, становясь не чёрной похлёбкой луж, а грязным густым месивом, которое затягивает ноги и наматывается на колёса гигантскими пластинами.

Конь остановился. Мы были посередине дороги. Свернуть с грейдера невозможно, он слишком высокий, а сбоку поле и луга, дорог нет. Впереди три километра и позади семь. Значит, надо двигаться вперёд. Папа велел нам слезть с телеги, а сам стал разгонять Руслана и скоро охрип от крика. Потому что жеребец останавливался то и дело, и пока мы не спихнём ногами и палками грязь с колёс, он не подавался вперёд, а тяжело дышал, расширяя ноздри и отмахиваясь от оводов. А тут ещё и ягоды на Майке не оказалось совсем. Кое-как мы проехали грейдер, свернули на обычную грунтовую дорогу, покрытую травой, а потому не липкую и не грязную. Но и тут ягоды нигде не было. Тогда мы покатили на Крутец таинственной полузаросшей дорогой у склона оврага. Там был широкий луг с великаньей травой. Это место папа называл Крутцом потому, что напротив, через овраг стояла ржавая водонапорная башня как единственное напоминание о селе Крутец.

Мы кинулись к полянам. Какое разочарование! Вся ягода: осыпная и крупная – пропала. Дело в том, что тот год был особенно сырым. Дожди шли каждый день. Ягоды, покрывшись мохнатой шалью плесени, висели на своих гнилых плодоножках. Мы проделали такой долгий путь ради созревшей ягоды. Вёдра у нас были пусты и чисты, как небо над головой. Оно уже освободилось от туч, и солнце палило нещадно.

– Дожди всю ягоду погноили! – разочарованно произнёс папа. – Ну что, детишки, поедем назад, как ехали или тут напрямик?

Он показал на слегка подзаросшую дорожку. Конечно, мы решили возвращаться по ней. Ведь никто не хотел снова палками счищать с колёс слои земли и подгонять Руслана десять километров.

Вскоре дорога из заросшей перешла в сверхзаросшую

и необычайно заросшую. Пять лет назад, когда мы сюда ездили, велосипеды спокойно катились по этой дороге, и ничто не намекало на то, что она так одичает. Вскоре мы совсем потеряли ориентиры. Кругом была просто стена из крапивы, лопухов, колючек и молочая. Мы шли, раздвигая для Руслана эти джунгли, топтали стволы растений-гигантов, вымахавших от переизбытка влаги. Нас жгло солнце и крапива, нас жрали овода, но мы всё раскидывали непокорные травы и прорывались вперёд. В этом лесу нельзя было даже понять, где мы находимся, и вскоре мы выехали на поле. Начались кочки, телегу трясло, колёса то падали вниз, то подпрыгивали вверх. Так продолжалось километров шесть, пока, наконец, впереди не показалась чистая прокатанная людьми дорога. К тому времени мы исчерпали все свои силы и шли, вяло перебирая измученными ногами, словно у нас на подошвах колёса сдулись. Я надолго запомню ту поездку!

Но сейчас, сейчас земляника есть, вот она! Ничто не мешает её собрать, дождик не льёт, солнце не жжёт, кругом прохлада и воля. И мы бежим искать себе полянки. И всё забыто: долгая дорога, пора ожидания, промозглая осень с простудами и дождями, холодная синяя зима, глядя на замороженные окна которой ты ждал тёплого лета, забыта голодная весна без сена и соломы, полная страха, что вся скотина погибнет, – всё это забыто. И хорошо, что забыто, ведь если ты будешь держать в голове весь сброд, всю чушь и грязь, что налипает к твоим ногам на жизненном пути, ты не сможешь идти дальше.

А ты просто собираешь землянику. Ты просто восторгаешься жизнью под пение птиц, под звон лета.

– Рай земной! – говорит папа, восхищённо. – У, тут она осыпная! Да сладищая! Я буду есть, ребята! М-м! Ягодка – люкс! Ценность невозможная!

Папа какое-то время лакомится на одной полянке, а затем уходит вглубь луга.

Мы кидаемся к первым ягодным пучкам, усаживаемся в них и начинаем торопливо рвать. Земляника не одиночный плод, она созревает кистью, в которой сразу несколько ягод растут вместе, как большая дружная семья. Отрываются ягоды с небольшим щелчком, и вот в твоей руке мягкие спелые «земляничинки», как говорит мой двухлетний братик Митя.

Вокруг нас сплошное благоухание, кружат шмели, бабочки, птички. И пока ты собираешь ягоду, рядом пчёлы собирают мёд.

Пёс Пася лёг в тени иван-чая, «отдыхиваться», высунув язык. Потом он тянется к ягодам и, аккуратно выбирая их из травы, отрывает и ест.

А розовое солнце тихо поднимается над полями, его свет разливается по земле. И вот уже тепло доходит до моей спины, мягко греет тело.

Мы устраиваем соревнование: кто соберёт больше кружек ягоды. Отовсюду слышится: «у меня уже кружка», «а я почти две собрал», «я тоже две». В вёдра сыплется первый урожай. Мы впились в свои поляны и опустошаем их ягодное изобилие, но папа не даст спокойно усидеть.

– Дети! – кричит он. – Идите быстрее сюда. Тут земляники море! Я такой ягоды никогда не видел!

Мы бежим с вёдрами через искристый луг, сапоги моются в росе, цветы заплетают ноги. И вот мы все располагаемся на папиной поляне. Она и в самом деле хороша: глаза разбегаются. Кругом одна земляника.

Но папа не останавливается на достигнутом. Он уходит дальше и скоро снова кричит:

– Дети, всё бросайте, идите сюда! Тут вообще тьма ягоды! Вся осыпная!

– Но тут тоже осыпная... – говорим мы.

– Там потом соберёте, сначала здесь.

Мы переходим к папе. У него ягода ещё крупнее, чем прежде. Её больше и она очень сладкая.

Папа переходит на следующую поляну и восклицает:

– Вот это земляника! Её срочно надо собрать. Варь, Петь, идите сюда! Пусть они там собирают. Поглядите, чё тут творится! О-ё-ёй! Уйма земляники! – он смеётся. – Как нам повезло сегодня, а, ребят?! А я зашёл сюда, думаю: «посмотрю, какая тут земляника». Там вначале вообще дребедень, да? – спрашивает папа, засовывая в рот горсть ягод. – М-м... Аховская ягодка! Свежатинку, как добро поесть. Это ж в охоточку, а то эта вся еда уже надоела. Одно и то же! А это хоть какое-то разнообразие, да?

– Ага!

– Я её ем за милую душу. Это же витамины. Вы почему не кушаете? Вы ешьте! – говорит папа. – Горстку в ведро, горстку в рот.

Вскоре папа снова покидает нас и затем кричит:

– Вера, иди сюда! Там всё мелочь! Вот тут ягода настоящая!

Перебегаю на новое место, втыкаюсь и не могу оторваться!

Мы надолго затихаем, довольные своими полянами. Папа ест, время от времени бросая в моё ведро горсти ягод, потом он уходит к Пете с Варей, собирает в их посуду, а потом говорит:

– Всё! Я наелся вволю! Пойду, посмотрю велосипеды. Отведу их от дороги. А то утащат: тут охотников много.

Пригревает солнце, жужжат пчёлы, ящерицы шуршат, поют жаворонки и соловьи, синее небо над головой.

Наши вёдра наполняются благоухающей земляникой. Через полтора часа они доверху забиты. Солнце уже

припекает, голова побаливает, ноги затекли, спина не разгибается, овода кружат рядом. Но мы рады своему урожаю, дорываем в последнее маленькое ведёрко.

Папа идёт к Паше, которая спокойно сидела со своим ведром чуть в сторонке.

– Паш, ты чё, уже всю поляну оболванила, что ли?! Ну, ты даёшь! А я думаю, чего это она там приутихла! А у неё уже ведро полное! Ну что, хорошую я тебе полянку нашёл?

– Да! – отвечает Паша.

– Собираемся домой, ребят? – спрашивает папа.

– Ага!

Идти назад тяжело: под ногами мелькают поляны с осыпной ягодой, её уже складывать некуда, и мы собираем самые аппетитные ягоды в горсть, съедаем и идём дальше... Ах, какая прелесть тут остаётся несобранной...

– Мы сюда ещё приедем! – обещает папа. – Тут вон сколько земляники. Пропасть!

Рядом с земляникой растёт пышный чимбар (по-другому, чебрец), папа нарывает его в огромную охапку и запикивает в свой рюкзак. А мы рвём иван-чай, по маминому распоряжению, засовываем длинные стебли в рюкзаки, и его розовые цветы слегка торчат из вещмешков. У нас все сапоги в прилипших лепестках цветов, а колени мокрые от раздавленной земляники, но за плечами – свежая ягода.

Мы поднимаемся со своими велосипедами по высокой грейдерной насыпи на дорогу и начинаем обратный путь. Солнце уже высоко, жара сменяет прохладу. За нами в погоню отправляются кровожадные слепни и овода. И только мелькают поля с жёлтыми подсолнухами да колосистой рожью, стелется дорога под колёса велосипедов.

Вот стадо изнурённых коров в пруду стоит, животные спасаются от жары и оводов, что больно грызут их в вымя и низ живота, где кожа понежнее, а, значит, её можно

прокусить и вдоволь насосаться чистой крови.

Тут на пути село Сальники. Папа решает заехать в него, повидаться с нашими дальними родственницами – Шурой и Нюрой. Это две сестры-старушки, у которых никогда не было ни мужей, ни детей. Поэтому их все называют – «девки». Они прожили почти век неразлучно в этом старом деревянном доме. Сейчас они сидят на лавочке у дома, сбоку – две их палки, без которых бабушки не могут ходить. Они очень старые и жизнь согнула их тела в дугу. Но Шура и Нюра кажутся всегда какими-то счастливыми, как будто они состоят из добрых светлых гномиков.

– Ну как у вас тут дела? – спрашивает папа, спешиваясь с велосипеда.

– Хорошо, Юра, хорошо!

Они встречают нас радостно, говорят, что все мы красивые и так выросли! Они каждый раз спрашивают, как нас зовут, потому что нас много и все мы похожи.

Папа предлагает Шуре с Нюрой земляники, но они наотрез отказываются.

– Ты что?! Ты что?! Вези детям, Юра! У тебя семья такая большая! А у нас всё есть! Всё есть! Оставь ребятишкам.

– Ну, смотрите! – говорит папа. – Как у ты, Нюрк, со здоровьем? Ты, говорят, зимой сильно болела...

– Да ничего, Юра, всё хорошо. Мы как живём: день прошёл и – Слава Богу.

– Да! – говорит Шура. – Нам чё, Юр: много надо? День прошёл и – Слава Богу!

Когда мы собираемся уходить, они выносят нам «гостинцы»: конфеты, печенье, оладушки, – это всё, чем они богаты. Мы стесняемся брать у них последнее, но они обидятся, если мы откажемся. Поэтому запиховаем это в рюкзаки и двигаемся домой.

И вот дорога к нашей речке Карай, сама река где-то

в низине, а там на горе стоит Моршань, уже почти пустое село, из него только церковь возвышается к небу голубыми куполами, и где-то у обрыва над рекой тоненькая угадывается фигура мамы, которая ждёт нас, вглядываясь в даль.

Это было далеко-далеко: за сиреневым туманом, за синим озером, за широким полем...



Космические орбиты Тамбовщины

К 60-летию первого полёта человека в космос

В предлагаемом интервью руководитель Музейно-выставочного центра Тамбовской области, Заслуженный работник культуры РФ, Почётный гражданин города Тамбова, военный историк Игорь Алексеевич НИКОЛАЕВ рассказывает о музейной экспозиции «Тамбовские космические орбиты», о вкладе Тамбовщины в космическую отрасль, о незабываемых встречах с космонавтом № 1 и другими покорителями космоса.

– Игорь Алексеевич, многочисленные посетители Музейно-выставочного центра очень высоко оценивают развёрнутую в нём экспозицию «Тамбовские космические орбиты», где представлены личные вещи космонавтов, их автографы, уникальные реликвии, предметы, побывавшие в космосе, экипировка космонавтов, макет космической ракеты и многое другое. Что побудило вас, ваших коллег к созданию такого раздела?

– Космическая тема очень интересна и притягательна для посетителей. Именно наша страна, образно говоря, запустила часы космической эры Земли. Осознание этого вызывает чувство обоснованной гордости у каждого нашего соотечественника, естественное стремление и желание, как можно глубже погрузиться в эту героическую, а порой и драматическую тему, подробнее узнать о людях: учёных, конструкторах, космонавтах, инженерах, рабочих, обеспечивших прорыв в космос, о сопричастности к освоению космоса нашей малой родины – Тамбовщины. Именно об этом мы думали, приступая к созданию космической экспозиции и работая над ней. В её основу были положены предметы из частных коллекций, предоставленные на



Игорь Николаев в музее

благотворительной основе, подарки космонавтов, деятелей искусства, к примеру, выдающихся скульпторов – Льва Кербеля, Григория Постникова, тамбовчанина Константина Малофеева и многих других заинтересованных людей, горячо поддерживавших это начинание. Ключевую роль в этой подвижнической работе сыграло наше многолетнее сотрудничество с Центром подготовки космонавтов, дружба со многими космонавтами и специалистами, готовящими их к космическим полётам, активная поддержка руководства области, Российского военно-исторического общества, Роскосмоса, Космического арсенала... Бесценен вклад в это благое дело лётчиков-космонавтов Льва Дёмина, Алексея Леонова, Владимира Шаталова, Владимира Титова, отца и сына Волковых – Александра и Сергея, Олега Артемьева, генерала-лейтенанта авиации Василия Ключенка, первого заместителя начальника ЦПК имени Ю. А. Гагарина полковника Максима Харламова, командира авиаполка Сергея Топова, дислоцирующегося на Тамбовщине...

– К экспозиции «Тамбовские космические орбиты», полагаю, мы ещё не единожды вернёмся... Давайте обратимся к историческому дню – 12 апреля 1961 года. Каким он остался в вашей памяти?

– Ярким, солнечным. Именно такой в этот день была погода. Но если бы день этот выдался пасмурным, то в моей душе и памяти, как, наверное, и у миллионов соотечественников, навсегда сохранились бы о нём самые светлые чувства. От значимости величайшего события. От ощущения того, что на твоих глазах фантастика становится реальностью. Я, как и мои сослуживцы по Тамбовскому военному училищу радиоэлектроники, был тогда несказанно рад и счастлив от осознания того, что на наших глазах в буквальном смысле творится уникальная история освоения космического пространства, что мы являемся современниками замечательного сына нашего Отечества и планеты Земля Юрия Гагарина, совершившего первый космический полет. Этот полёт стал реальным воплощением человеческой мечты о прорыве в неизведанные космические дали. Общему счастливому ликованию не было предела. Мне кажется, все жители нашей планеты, ощутили тогда себя единой семьёй, братьями. Такой всемирный резонанс был от этого события. Тогда, в одночасье, все мальчишки захотели стать космонавтами, а легендарное гагаринское «Поехали!», как и исторические позывные, прозвучавшие по радио, и голос Юрия Левитана, озвучивший официальной сообщением ТАСС о первом полёте «гражданина Союза Советских Социалистических Республик, майора Юрия Алексеевича Гагарина» в космическое пространство, стали своеобразным паролем и символом того эпохального героического и романтического времени. И, конечно, я и предположить не мог, что, спустя буквально два месяца после этого исторического полёта, воочию увижу Юрия Алексеевича Гагарина.

– Полагаю, на Тамбовщине немного ныне здравствующих людей, которым, так сказать, вживую довелось видеть и слушать нашего первого космонавта. И вы, Игорь Алексеевич, в этом смысле уникам: вас можно демонстрировать в космической экспозиции, как живой экспонат, с табличкой: «Он воочию видел Юрия Гагарина». Но это, как вы понимаете, шутка. А переходя на серьёзный лад, задам вопрос, который задали бы многие: каковы впечатления от этой встречи с Юрием Алексеевичем Гагариным, что запомнилось, запало вам в душу?

– Вначале всё-таки отвечу на вашу шутку. Она близка к истине. Наши посетители, особенно молодёжь, узнав о том, что я в реальной обстановке видел первого космонавта, начинают с большим пиететом воспринимать меня и непременно спрашивают о впечатлениях от этой встречи. Эти впечатления, конечно же, неизгладимы. Прежде всего, поразила и запомнилась гагаринская улыбка. По её поводу известно огромное количество прекрасных и восхищённых сравнений, эпитетов. Мне особенно запал в душу такой образ. Однажды, будучи в Звёздном городке, я увидел цветущие гладиолусы и невольно замер, любуясь ими. Мне подсказали: этот сорт называется «Улыбка Гагарина». Цветы были жёлто-розовые, с красным мазком внутри, который действительно напоминал отблеск улыбки.

– Мне, слушая вас, невольно вспомнились слова популярной детской песенки «от улыбки станет всем светлей»...

– Эти слова точь-в-точь про гагаринскую улыбку. А сам облик Гагарина излучал жизнелюбие и сердечность. Речь его была естественной, лёгкой, свободной, с искринками юмора. Он был прекрасный рассказчик. Запомнилось, как он увлечённо и ярко говорил на всеармейском совещании комсомольских работников о присутствующем в зале

секретаре комсомола своего полка. В то же время он был скромен, внимателен и тактичен в обращении с людьми, в чём ощущалась большая самодисциплина. В этой связи приведу такой пример. Мы, группа военных, стояли у подножия Мавзолея, когда к нам подошёл Юрий Алексеевич, приветливо улыбнулся, поинтересовался настроением, впечатлением от увиденного, и направился к Мавзолею, чтобы подняться на него. Проверяющий пропуска узнал его и приветливо попросил проходить. Юрий Алексеевич приложил руку к козырьку фуражки и сказал, что порядок одинаков для всех, его нельзя нарушать, и предъявил свой пропуск.

– Игорь Алексеевич, а почему, на ваш взгляд Гагарин стал Гагариным, иначе говоря, первым космонавтом, почему выбор из многочисленных и достойнейших кандидатур для первого эпохального полета человека в космос пал именно на него?

– Я думаю, что образ его для этой миссии выбран совершенно идеально. Ещё за 26 лет до полёта Юрия Алексеевича в космос, в 1935 году, основоположник современной космонавтики Константин Циолковский сказал пророческие слова: «Я свободно представляю первого человека, преодолевшего земное притяжение и полетевшего в межпланетное пространство. Он русский... Он – гражданин Советского Союза. По профессии, вероятнее всего, лётчик... У него отвага умная, лишённая безрассудства... Представляю его открытое русское лицо, глаза сокола». Безусловно, в этих словах угадывается портрет Гагарина, хотя, когда Циолковский говорил об этом, будущему космонавту не было и года... А вот мнение генерального конструктора Сергея Павловича Королёва о Гагарине: «В Юре счастливо сочетались природное мужество, аналитический ум, исключительное трудолюбие». Ещё можно говорить о том, что Гагарин обладал прекрасным физическим здоровьем, необходимым уровнем

подготовки, но я бы особо отметил его целеустремлённость, колоссальное чувство долга и ответственности, уникальную силу воли и выдержки... Ведь, когда Гагарин совершал этот полёт, он знал, что коэффициент надёжности всего-навсего 0,7 процента... Но он пошёл на него, оставив свое завещание в школьной тетрадке в клеточку. На волне последующих радостных событий об этом завещании забыли, оно было найдено и обнаружено позже. Читаешь эти строки, написанные гагаринским почерком, о том, как он счастлив, что ему доверили такое задание, что он непременно, любой ценой оправдает это доверие, его признание в любви к жене и желание вырастить дочек не белоручками и позаботиться о его родителях, и восхищаешься мощи его характера, огромнейшей силе его духа... Такими, как Гагарин, в одночасье не становятся. В этой связи вспоминаются его слова, обращённые к маме, сказанные, когда семья впервые собралась в родительском доме после полёта: «Спасибо тебе, мама, что ты приучила нас в детстве трудиться. Приучила каждое дело делать на «отлично», а это в жизни главное». В этих словах, на мой взгляд, основополагающий смысл понимания личности Гагарина, его яркого, как луч солнца, подвига... После трагической гибели Юрия Алексеевича ясновидящая Ванга утверждала, что Гагарин жив. Полагаю, она в определённом смысле права. Да, Гагарин жив, но не в своём физическом облике, а в наших душах, в нашей памяти, в нашей истории, в нашем дне сегодняшнем. И космическая экспозиция нашего музейно-выставочного центра это подтверждает. В ней представлено немало интересных и уникальных фактов, сведений о первом полёте человека в космос, о его значении для нашей страны и всей земной цивилизации.

– У вас были незабываемые встречи и с другими космонавтами?

– Да, в последующем таких встреч было немало. Причём в разной обстановке. У кого-то из космонавтов мне по-

счастливилось побывать дома, с кем-то довелось встречаться и общаться в рабочих условиях. Космонавты не единожды были желанными гостями Музейно-выставочного комплекса Тамбовского высшего военного авиационного инженерного училища радиоэлектроники, а в последующем – Музейно-выставочного центра Тамбовской области. Среди них – дважды Герои Советского Союза Алексей Леонов, Светлана Савицкая, Георгий Береговой, Владимир Джанибеков, Герои Советского Союза Владимир Титов, Александр Волков...

– Немало имен и биографий космонавтов, что называется, напрямую связанных с Тамбовщиной...

– И мы по праву гордимся этим. В этом ряду – Владимир Шаталов, Лев Дёмин, Валерий Быковский, Юрий Артюхин, Геннадий Манаков, Павел Виноградов, Александр Скворцов, Сергей Волков, Константин Козеев, Олег Артемьев, Сергей Прокопьев. Все они в разные годы жили, служили или учились на нашей тамбовской земле. Многие из них связаны с нашим краем родственными корнями. К примеру, отец лётчика-космонавта Владимира Шаталова – Александр Шаталов – родился в селе Сукмановка Жердевского района. В годы Великой Отечественной войны он возглавлял ремонтно-восстановительный поезд «Связьрем-1». Выполнял ответственные задачи на «Дороге жизни», участвовал в прокладке свайно-ледового пути на линии Мга – Волховстрой, в строительстве переправы по льду Ладожского озера и эстакады через Неву в районе Шлиссельбурга. Пятого ноября 1943 года он был удостоен звания Героя Социалистического труда. Его сын, будущий космонавт, был на правах «сына полка» в составе этого коллектива.

В последующем, в начале 50-х годов, Владимир Шаталов служил в Мичуринске лётчиком-инструктором. Однажды он совершал полёт на самолёте Як-9В с курсантом, который управлял машиной. Поднялись на 170-180 метров,

и тут мотор неожиданно стал давать сбой. Оглянувшись, Шаталов увидел тёмный дымный шлейф. Медлить было нельзя. Он взял управление на себя и тут же выключил мотор, чтобы от случайной искры не вспыхнул бензин и не произошел взрыв. Надо было садиться. Но куда? Высота мала, и разворот в сторону аэродрома сделать невозможно. Тогда он повёл самолёт прямо по курсу, на мичуринский опытный сад, и посадил его на брюхо на тот участок сада, где работала его любимая девушка Муза. Вот такая драматическая и героическая история, какую и в кино вряд ли увидишь. Причём со счастливым любовным завершением: Муза позже стала женой Шаталова. И ещё любопытный факт: во время службы в Мичуринске Владимир Шаталов вместе со своим другом Иваном Савченко квартировал у сына великого биолога и селекционере Ивана Владимировича Мичурина – Николая.

– Нашим, тамбовским космонавтом с полным правом мы называем и Льва Степановича Дёмина...

– И совершенно обоснованно. С Тамбовщиной его связывало, прежде всего, авиационно-техническое училище, которое он окончил досрочно и с отличием в январе 1949 года. Позже об этом периоде своей жизни он говорил так: «С благодарностью вспоминаю наше училище, оставившее большой след в моей жизни». Лев Степанович постоянно поддерживал деловые и творческие связи с его коллективом, командованием и профессорско-преподавательским составом. Он многократно бывал в Тамбове. Его приездов здесь ждали. Космонавт, в частности, встречался с коллективами гимназии № 12, завода «Ревтруд», государственного педагогического института, производственного объединения «Пигмент»... Имя прославленного космонавта носит Тамбовский кадетский корпус. Лев Степанович – Почётный гражданин Тамбова. Это высокое звание городской Совет

народных депутатов ему присвоил 12 июня 1974 года. И он действительно любил наш город. При первой встрече, после космического полёта, с курсантами и офицерами родного училища он признался: «Я всегда испытываю трепетное отношение к Тамбову – городу моей юности и нашему замечательному училищу. И эта память приумножает силы, она волнует сердце и наполняет его гордостью за Тамбов и горожан». И, конечно же, прежде всего, хочется сказать о благородстве, доброте и щедрости души Льва Степановича. И в этом со мной будут солидарны многие люди, которым космонавт сумел помочь в жизни. Он был разносторонней личностью. Вёл активную научную работу по геологическому дистанционному зондированию Земли. Его серьёзно привлекали проблемы космической геологии, космического «природоведения». Изучению этих и других проблем кандидат технических наук, космонавт Дёмин посвятил многие годы своей жизни.

– Кого ещё из космонавтов можно причислить к «частым гостям» нашего областного центра?

– В этом ряду можно смело назвать лётчиков-космонавтов Владимира Титова и Александра Волкова. Их, кстати, связывает многолетняя дружба с заслуженным военным лётчиком, генералом-лейтенантом авиации Василием Ключенком, возглавлявшим в своё время тамбовское училище лётчиков дальней авиации и, как говорится, поставившим на крыло будущего Героя России лётчика-космонавта Сергея Волкова. Так что мы с полным правом можем говорить о причастности нашей Тамбовщины к созданию первой космической династии: отца и сына, Александра и Сергея, Волковых. Герой России, космонавт Павел Виноградов также регулярно бывал в Тамбове, где проживали его родители. Во время встречи с коллективом редакции газеты «Тамбовская жизнь» он признался, что когда космическая орбита про-

ходила над Тамбовом, он через иллюминатор находил дом родителей и разговаривал с ними по космической связи.

– «Следы пребывания» этих космонавтов на Тамбовщине, как, впрочем, и других, полагаю, есть в экспозиции «Тамбовские космические орбиты»?

– Безусловно. Как и сотрудничества нашего региона с Центром подготовки космонавтов, которое длится уже несколько десятилетий и носит, я бы сказал, системный характер. Особо хотел бы выделить, в рамках этого сотрудничества, проведение Дня Тамбовской области в Центре подготовки космонавтов. Наш регион – единственный, осуществивший такую акцию. Это мероприятие упрочило наши связи со Звёздным городком, где живут и работают космонавты, в целом – с Московской областью, и дало возможность нашей делегации основательно познакомиться с условиями подготовки космонавтов, с её уникальными техническими средствами, проникнуться ещё большим уважением к этой героической и наиважнейшей для человечества профессии, значимость которой со временем будет только возрастать. Конечно же, такого рода контакты обусловлены вкладом нашей области в развитие космической науки и техники. Прежде всего – это подготовка кадров в Тамбовском высшем военном авиационном инженерном училище радиоэлектроники. Среди его выпускников – крупные учёные, заслуженные деятели науки, лауреаты Ленинских и Государственных премий, которые работали и работают в интересах космической науки и техники. В их числе – Константин Власко-Власов, Геннадий Мельников, Владимир Соколов, Михаил Калинин, Александр Коробенко и другие. В числе выпускников училища, как я уже сказал, лётчик-космонавт Лев Дёмин. Здесь прошла курсантская юность космонавта Юрия Артюхина. Долгое время они были связующим звеном между Тамбовщиной и Центром подготовки космонавтов. Немало сделали для освоения космоса,

подготовки космонавтов офицеры, закончившее наше училище. Среди них – Виктор Исаев, Георгий Стародубцев, Иван Ваганов, Валерий Латышев, Игорь Трашутин, Владимир Самородов, Виктор Стюжнев, Вячеслав Чуркин, десятки других замечательных специалистов, работавших в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина, в космических НИИ, на Байконуре. Значительна «космическая составляющая» нашего лётного училища имени Героя Советского Союза Марины Михайловны Расковой, где становились на крыло будущие лётчики-космонавты Сергей Волков, которого я уже называл, и Герой России Сергей Прокопьев. Можно много привести фактов и примеров, свидетельствующих о вкладе тамбовских предприятий и научных учреждений в космическую сферу, о культурных связях Тамбовщины и Центра подготовки космонавтов, куда наши делегации неоднократно выезжали с концертными программами.

– Игорь Алексеевич, слушая вас, мне так и хочется обратиться к жителям Тамбова и Тамбовской области, к нашим гостям, и пригласить их непременно посетить Музейно-выставочный центр, ознакомиться с экспозицией «Тамбовские космические орбиты», а вас сердечно поблагодарить за её создание...

– Приглашать можно и нужно всех, и не только в первый, но и в очередной раз, ведь наши музейные экспозиции, в том числе, и космическая, постоянно пополняются, обновляются. А что касается благодарности, то давайте адресуем её опять же прежде всего тем, кто помогал нам, моим коллегам, в её создании. К уже выше названным с признательностью причислю полковника Григория Просянникова, начальника Космического арсенала. Возглавляемый им коллектив передал нам для экспонирования немало образов уникальной космической техники, помог органично внедрить их в нашу экспозицию. В её создании с боль-

шим желанием участвовали тамбовские предприятия военно-промышленного комплекса, например, «Росхимзащита», занимавшаяся созданием космического оборудования, а также мичуринские учёные, работающие в направлении совершенствования космического питания. В создававшуюся по сути «всем миром» экспозицию внесли свою лепту ветеран авиации ВМФ Сергей Бачурин, почётный гражданин Тамбовской области, один из энтузиастов и организаторов летных праздников на Тамбовщине Анатолий Сафонов, известные в области представители промышленного производства Сергей Булах и Александр Пахомов. Большую поддержку в этом благом деле оказали глава администрации области Александр Никитин, заместитель главы администрации области Наталья Астафьева, руководство Всероссийского военно-исторического общества и его регионального отделения в лице Ростислава Мединского и Владимира Карева. Много нового интересного в работу космической экспозиции по пропаганде и возвеличиванию подвигов на космической орбите вносят деятели культуры и творческие коллективы Тамбовской области и, в частности, вокальный ансамбль «Русский романс» и Арт-студия «Пятый океан». Это творческое содружество всемерно поддерживается управлением культуры и архивного дела области во главе с Юрием Голубевым и директором областного краеведческого музея Андреем Чиликиным.

Если же вести речь о содержании космической экспозиции, состоящей в основном из редких и уникальных экспонатов, раскрывающих все этапы освоения космоса, биографии космонавтов, конструкторов, учёных, то можно сказать так: лучше всё это увидеть, чем сто раз услышать. Ждём вас у этой увлекательной экспозиции.

Интервью взял Валерий МАРКОВ,
писатель, журналист



Наталья ДЖУРОВИЧ

«Печаль, как хлеб, разломится на части...»

Стихи

Гуси

Детство пахнет картошкой варёной,
Кострецом на зазубринах вил,
Нашей тихой речкой Вороной
И плотвою, что брат наловил.
Детство пряное; блёклые маки
Отцветают на грядке в росе.
Мы бежали в траве без оглядки
И травы не жалели совсем.
На просторном лугу чуть подальше,
От суровых гусей убежав,
Мы лягушек ловили бесстрашно
И гоняли пупырчатых жаб...
Замолчали крикливые птицы,
Заросли осокой берега,
Лишь лягушка из сказки мне снится,
И свирепое чудится «Га!».
Гуси, гуси! Да пусть бы кричали,
Пусть колола бы пятки трава,
Лишь бы речка, как раньше, журчала,
Там, где бабушка вечно жива...

Земное счастье

От года нам осталась только треть.
Так осторожны мысли, словно астры.
Трава права, пришла пора желтеть,
Но в том и есть её земное счастье.
Нет, не чернее гроздь бузины
Земли тамбовской, тем сумев поранить.
Во сне я обходила пол-страны,
По-августовски муча свою память.
Там сенокос. К губам прильнёт вода...
Мне жаль, что я к страде той безучастна.
Я не люблю приморского плода,
Но в том и есть мое земное счастье.
Успеть, пока звенит на ветках медь
Прильнуть к твоей земле нечернозёмной
Должны теперь мы. И её согреть.
И в то тепло смиренно бросить зёрна...
Смотри, лампадно вздрогнула печаль,
Печаль, как хлеб, разломится на части...
Вкушай тот хлеб. И колыбель качай.
Она и есть – твоё земное счастье.

Лоскутки

Печка, бабушка в платочке,
Мама, тётя, я и ты.
Мы играем в лоскуточки,
Лоскуточки, лоскуты...
«Сохранила вам Алёнка,
Будьте бережней чуток...».

Загадаю, чтоб зелёный
Мне достался лоскуток.
В комнате запахло хлебом,
Дым ерошится в трубе.
Вот тряпица – словно небо,
Синий лоскуток – тебе!..
Наши тряпочки-тряпицы,
Даже бархата чуть-чуть!
Как такой не поделиться?!
Как над ней не прослезиться?
Нам потом когда-нибудь?..
Память – как узор на ткани:
Мама, тётя, я и ты,
Да странички поминанья.
Лоскуточки, лоскуты...

Огороды

Огороды, огороды,
Конь горланит: «Иго-го»,
– «Размалынился немного,
Потерпи же, дорогой».
С лошастью тумачит дядька,
Конь к руке его приник,
И смеются мои братья,
Как дурачится старик.
Что тогда мы понимали?
Что сменилось с прошлых лет?
Братья дядьками уж стали,
Отдышаться – срока нет.
Видно, так у нас в привычке.

И несёт тамбовский волк
Чернозёмное величье,
И земля нам знает срок.
Огороды, огороды,
В грядках наскоро обед.
Заточили тяпки бодро –
Не догонит нас сосед!
Уж обычаи, чего там,
Первым землю раскопать,
Малыша гонять до пота,
А потом всю ночь вздыхать.
Огороды – вёсны, зимы...
По земле бежит душа.
...И лишь только баба Сима
Бога славит не спеша.

Утки

Заглотило бешеное море
Всё, что не привязано к земле –
Горсть окурков, выкуренных в горе,
Да копейки – память о рубле.
И бежит, без памяти и соли,
Пресное подобие ручья.
Это речка или чья-то совесть
Истончилась, даром измельчав?
Утки полудикие не знают,
Кто хозяин да ему нужны ль?
Оттого, на случай уповая,
Слушают любой призыв пугливо
И кричат, в кричании сильны,

Утки, разлучённые разливом,
Утки, разведённые разливом,
По различным берегам страны.

* * *

Старая ограда,
Листья вместо плит...
В изголовье сада
Яблоня стоит.
С нею нас тревожит
Боль одних потерь.
Помнить осторожней
Стала я теперь.
Выпросила милость –
Память скрыла мгла.
Забывать училась
И теперь – смогла.
Будто по догадке
Я теперь бреду.
Если будет надо,
То под тенью сада
Умирать приду.

* * *

«Ты печалишься много слишком,
Это время ли для кручин?
Вон, какой подрастает мальчишка,
Невозможный красавец-сын!
Улыбаться бы чаще – скажут –
Не тебе печаль замышлять...»

...Сын сложил самолёт бумажный,
Хочет в небо его отпустить...
Не ко времени и не к месту
Бить в набатные колокола.
...Но соседка моя по подъезду
Тоже мальчика родила...

* * *

Так неизбежен дождик, словно рок,
Тот чёрный рок, что вмиг разрушит счастье.
Ах, мальчики, вы в этом светлом классе
Свой главный не получите урок,
Конечно. Но читайте между строк,
Между листами, вымокшими в парке,
Пусть вам кого-то снова станет жалко,
Какой иначе от уроков прок?
Вот, паутинки тросточкой уняв,
Прошёлся мимо нашей школы Пришвин,
Он посмотрел на радостных мальчишек,
Не обвинив в той радости меня.
Нет, не читают мальчики стихи
Теперь, их посвящать мечтая девам.
Себя виню за то в минуты гнева,
Но разве эти мальчики плохи?
О, мальчики, нескладный шумный «хор»!
...А на скамейке вымокшего сада,
Кляня невинный дождь, сидит Мачадо,
В безумстве повторяя : «Леонор...».

Дед

Герой в летах, в сединых борода,
Идёт по кромке вспененной воды,
В камнях свои прокладывая тропы.
Тут остановит берег, там-пейзаж.
У дедушки давно «пейзажный стаж»,
Да только чаще был пейзаж окопный.
Как будто в летах, в космах он седых,
И, слава Богу, ходит на своих,
И всё ещё как будто на подхвате.
Проверку полигонами прошёл,
И в лёгких воля дышит – хорошо!..
– Ах, что там? Пропуск? Маску? Справку? –
Нате!
За маской седины не прячет дед,
Безропотно потёртый документ
Протянет, как протянет ветку тополь.
Он отстоял когда-то Севастополь,
Да вот на пропуске о том печати нет.
Ну, нет – так нет. Потрёт карман тугой.
...И камешки под дедовой ногой
Хрустят, как внуки сахарным печеньем
Хрустели, и когда-то развлеченьем
Из дедовых карманов извлечение
Его казалось. «Деда, дорогой!..» –
Всё слышится, как камешки с откоса...
И все ещё как будто в жизни сносно,
И нет потребности жизнь сложить другой.

В эту землю

В эту землю кротко отцветаю
Лепестком воскресшей тишины.
Если ждать тебя, то как с войны.
В вишнях сад, и плачется как в мае.
Вербы слов боятся содрогнуться,
Мир натянут трепетно, как лук.
Я боюсь теперь других разлук,
Из которых можно не вернуться.
Странная родная сторона,
Бедное надколотое блюдце,
Так хочу теперь к тебе пригнуться,
Лептою оставив семена.
Мир, как слёзы детские, правдив,
А другие разве столько значат?
Сын рождается – Родина заплачет,
Никуда ещё не проводив.

Вишни

Прекрасны в одеяниях резных,
Слегка горчат мне вишни и алеют.
От этой важной, царственной весны
Ресницы, намокая, тяжелеют.
От самого короткого стиха
Заплачет сердце, и пробьётся корень.
Звончее, чем стихи, растёт ольха,
С приветливою бархатной рукою.
Назвать себя – не нужно много слов,
Отечеством и отчеством не дрогну.

Мой дед Иван, тамбовский, Колмыков
На эту чернозёмную дорогу,
Как лист вишнёвый, снова упадёт
И станет изумрудною травюю.
Здесь маленькая девочка пройдёт
С пыливою и русой головою...
...Но от чего-то снова мне горчит,
Как первая алеющая завязь...
А сердце то заплачет, то молчит,
Весенними абзацами терзаясь.

Воспоминание

Тот же шустрый спорыш у калитки,
Муравей ползёт по рукаву.
Кажется, как детские улыбки,
Яблоки попадали в траву.
Мы колени все в пыли разбили,
Сколько хочешь на руках земли.
Как траву ту взрослые растили,
Кустики несли, несли, несли.
Если в полдень вдруг заморосило,
Как досадно было детворе!
Вы зачем-то, дождь «благой» просили
И бросали веник во дворе...
В мареве с ума сходили осы.
Пыльные елозили штаны...
Корни, словно бабушкины косы,
Навсегда теперь заплетены.
Но уходят в прошлое поверья,
Как когда-то в вечность – сыновья.

Лишь осталось несколько деревьев
И четыре взрослых муравья.
Во дворе разросся подорожник,
Знатен наш тамбовский чернозём.
Только где же бабушка, о Боже!..
И цветы несём... несём... несём...

* * *

Я сердцем возвращаюсь без конца
В голубоглазый сад, дыша едва ли.
Цветёт сирень, как будто и не рвали
Её для сокровенного венца.
Взмывают в небо чёрточки ресниц
«Пиши стихи, кричи, испепеляйся!
Здесь, может быть, случайно заваялся
Твой оберег из девичьих тряпиц...
Вот этот угол – узнаёшь ли?» – Ах!
Сплетенье веток – тайная светлица.
И стрекоза на плечи примостится
И – скроется, как стрелка на часах...
Я помню сливы прелые, потом –
Засохших косточек на крыше россыпь.
Так узнавала я, что скоро осень
И берегла надёжнее свой дом.
Теперь я, словно косточка, тверда.
Лишь дай мне Бог внутри не стать бы полой.
Как смело рассыпали мы глаголы!
Как редко сомневались в них тогда!



Михаил ВОЛЧИХИН

«Стихи восходят до молитв...»

Стихи

Провинция

Оставил стеллажам зачитанные томики
И вышел в ночь, где звёзды и туман.
Похожие на радиоприёмники,
Огнями окон светятся дома.
На их волнах нет музыки Стравинского
И Хлебников отыщется едва ль.
Плывёт моя российская провинция
В свою непредсказуемую даль.
Провинция – сестра, а не прислужница.
Тоской необъяснимую гоним,
Не слухом я пытаюсь к ней прислушаться,
А духом истомившимся моим.
Твердят опять, что времена последние,
и веси святорусские сдались
на волю неразумного столетия,
на милость обольстительных столиц.
Что брошено, что предано и продано...

И на Руси осталась только звень.
Но слышу... За окном читают «Родину»:
«... встречать... огни печальных деревень»

Родная речь

Русской речи течь да течь –
Что ни место – то источник,
Сил духовных средоточье,
Возношу родную речь.
Я-то в речи кто таков
посреди речистых прочих?
Были Даниил Заточник,
Пушкин, Гоголь и Лесков...
Был великий наш народ:
Ростовчане, новгородцы...
Был народ и остаётся –
Речь источниками бьёт.
Завещали издалече,
Как надёжный щит и меч,
Не растрачивать наречий,
Возносить родную речь.

Душа болит

Пойдёшь по линии полей,
Туда, где осень
Роняет листья с тополей,
Как из авосек.
Их гонит ветер наугад,

Не зная проку,
За порыжелые луга
Через дорогу,
А что-то гонит нас с тобой
В просторы края –
Любовь какая или боль,
Тоска ль какая?
Согласье леса и небес?
А, может, просто
Во всем невысказанность есть
и даже просьба.
Стихи восходят до молитв,
И зреют силы.
Душа и любит, и болит
У нас в России.





Анна ЗОРИНА

«Этот город доверчиво юн...»

Стихи

* * *

Этот город доверчиво юн и по-детски открыт –
Шебутной тонконогий птенец, сероглазый мальчишка.
У него нараспашку душа и карманы-дворы,
Он давно перерос площадей кружевные манишки.

Так порывисто-дерзок, движения жизни полны,
В укороченных улицах жмётся немного нелепо
И довольно макает надкушенный крекер луны
В ледяной апельсиновый раф предрассветного неба.

Он устал от зимы: заморожено хрипнет земля,
Чуть прищуришься – сразу же иней слепляет ресницы.
И не греет давно горностаевый снег февраля,
Но носить до апреля – одна из сибирских традиций.

Значит, нужно влачить обветшалое это мантио,
Что теряет клочки по углам, рассыпаясь на части.
Он вбивает над Обью булавочный пирсинг мостов
И, легко обнимая приезжих, смеётся от счастья.

* * *

Провожали июль. Плыли улицы, солнцем оплавлены.
Медным куполом маленький город накрыла жара.
У разбитых дорог на рябинах рыжели подпалины,
Отражаясь в оконных пределах ободранных рам.

Провожали июль потаёнными летними тропами.
Завернулся янтарный закат в тёмный облачный плащ.
И прощания с губ облетали горячечным шёпотом,
И срывались на плач.

* * *

По дачам лето тихо катится.
Умолкла вечная сумятица.
Пылает маковое платье
У деревянного крыльца.

И, тенью утренней умножены,
Неспешно мысли осторожные
Ползут кофейными дорожками
По чашке сонного творца.

А над ленивой этой прозою
Погода быть пыталась грозною,
Но тут же хохотала грозами
До слёз, рассыпанных в траве.

От них легли повсюду зайчики,
Цветные солнечные мячики,
И слов, что ничего не значили,
Стада бродили в голове.



Наталья ДРОЗДОВА

«Встречай меня...»

Стихи

* * *

Не плачь обо мне, моя ветхая родина.
И так ты всегда и во мне, и со мной,
Под левою грудью темнеешь, как родинка,
сумою дорожной висишь за спиной.

Все страхи твои, все грехи, как репейники,
колючками злыми вцепились в подол.
Но также достались мне от соплеменников
живучесть сирот их и мужество вдов.

Не плачь. Помолись. Проживу я. И выживу.
Как семя живёт в полинялых цветках.
Как на рушниках красно-чёрная вышивка
цветёт – не линяет – в твоих сундуках.

Не бойся, когда постучат. То – юродивый
к порогу склонился хмельной головой.
Ты вместо меня приюти его, родина.
Он – брат мой. Он – сын твой. Открой же. Открой...

Я тоже бездомна. Но не обескровлена.
За милость твою я сторицей воздам.
Я внукам своим накажу, чтоб построили
мой дом на земле. Не хоромы. Но – храм.

* * *

Встречай меня, где мостик хлипкий,
откос крутой и камыши.
Своей смущённой улыбкой
мои тревоги разреши.

Скажи, что он уже оплачен –
мой долгий путь из «заграниц»,
и ничего уже не значит
зловещий крик полночных птиц.

К родному берегу причалив,
душа опять любви полна,
неизречённую печалью
обожжена – оживлена.

* * *

Серебрятся поля под звездой вечерней.
Сизой дымкой окутан чернеющий лес.
Беззаботно земле, у неё попеченье
лишь одно – о Младенце, грядущем с небес.

День обещанный будет и долог и ярок,
будет литься и литься в оконный проём.
Запах хвои сосновой, орехов и яблок
всем напомнит о детстве, о доме родном.

Слёзы комом подступят под самое горло
и прольются. И станет душе веселей.
Как бы там ни теснил её алчущий город,
всё ж просторно и ясно в деревне моей.

И морозно. И тихо. И видно дорогу –
стороной кто проехал, кто к дому идёт.
Кошка серая смотрит в окно. У порога
пёс лохматый томится – и он тоже ждёт.

Скоро белые хлопья в предпраздничном рвенье
упадут на убогое наше жильё.
Ожидание снега – моё вдохновенье.
Ожидание сына – спасенье моё.

* * *

Как ни лепи себя снаружи,
как образиной ни блистай,
придёт Любовь и всё разрушит,
всех раскидает по местам.

И взропщит мир в гордыне томной:
она ж, мол, вдребезги пьяна,
несовременна и бездомна,
в каких-то дебрях рождена.

И застучит коса о камень,
и злые искры полетят,
но станут в поле васильками,
наткнувшись на Отцовский взгляд.

И снова оживут герои
честнейшей повести родной.

Сюжет старинного покроя,
Живого Бога путь земной.

* * *

Знаешь – где чабрец? Вечером приду.
Спрячет солнцепёк Белая гора.
Нечего ловить в городском аду.
Потому опять – райская пора.

Слышишь – где сверчки? Выходи и пой
царственный свой гимн, сказочную быль.
Верные стада... древнею тропой...
в тридевятом сне... если б да кабы...

Видишь – где темно? Там и разведём
мы себе костёр в тихом кураже:
помнишь – где-то сад, может – где-то дом...
Знаешь – где чабрец? Он цветёт уже.

Из «Московской тетради»

Мороз и солнце. Хруст под сапожком.
Семинарист, влюблённый в поэтессу.
Не запрягай. Давай и мы пешком
пойдём на гул чернеющего леса.

Пусть все мои деревни замело,
все большаки от курской и до тульской.
Развозит сиротливое тепло
трудяга эскалатор в свете тусклом.

На тонком льду какой-нибудь из рек
вдруг станет ясно, что грустить не надо.
Проснётся слово, вспыхнет в алтаре.
Семинарист подаст владыке ладан.

Забьётся птенчик. Вздогнут провода.
А вечер за окном синее, гуще...
Давай любить сегодня и всегда
и не мечтать о прошлом, о грядущем.

Мария

Я сегодня как будто болею:
не мела, не топила печи,
праздно вечера жду и лелею
на столе лишь огарок свечи.
Жду и верю: тебе он и нужен –
бедной искорки дерзкий полёт.
И на мой незатейливый ужин,
всех домов хлебосольных в обход,
быстрой тенью по тёмному саду
проскользнув, дверь плечом отворив,
Ты придёшь. Я у ног Твоих сяду,
Боже мой. Говори. Говори!



Наталия МУСИНОВА

Архетип круга в «органической поэтике» акмеизма *Статья*

О.Мандельштам в статье «О природе слова» (1922) называет акмеизм «органической школой русской поэзии», предпринявшей создание «органической поэтики не законодательного, а биологического характера, уничтожающей канон во имя внутреннего сближения организма, обладающей всеми чертами биологической науки» [12, с. 405 – 406]. Как основной вклад акмеизма Мандельштам выделяет популяризацию завершённого органического образа и «вкуса к целостному словесному представлению, образу, в новом органическом понимании» [12, с. 406]. В статье «Утро акмеизма» (1912) Мандельштам провозглашает знаменитый акмеистский лозунг: «Любите существование вещи больше самой вещи и своё бытие больше самих себя – вот высшая заповедь акмеизма» [13, с. 360], а Собор Парижской Богоматери называет «праздником физиологии», в форме олицетворений раскрывая это в стихотворении «Notre-Dame», в котором собор «играет мышцами» на своих «чудовищных рёбрах»: «Где римский судья судил чужой народ, // Стоит базилика, – и, радостный и первый, // Как некогда Адам,

распластывая нервы, // Играет мышцами крестовый лёгкий свод... // Но чем внимательней, твердыня Notre-Dame, // Я изучал твои чудовищные рёбра, // Тем чаще думал я: из тяжести недоброй // И я когда-нибудь прекрасное создам» [14, с. 26]. Описание собора у Мандельштама «органически» совпадает с описанием Падуанского собора Н.Гумилёва в стихотворении «Падуанский собор», переданное через метафорические сравнения (напев органа – как бунтующая кровь, гранитный рисунок стен – как вены): «Растёт и падает напев органа // И вновь растёт полнее и страшней, // Как будто кровь, бунтующая пьяно // В гранитных венах сумрачных церквей...» [7, с. 237]. Но ещё более сочно эта «органическая» образность проявляется у Гумилёва в стихотворении «Андрей Рублёв»: «Я твёрдо верю, я так сладко знаю, // С искусством иноков знаком, // Что лик жены подобен раю, // Обетованному Творцом...» [7, с. 267]. В этом стихотворении воссоздан обобщённый образ икон Рублёва. В женском лике на иконах Рублёва поэт видит целую картину рая с деревьями, мифическими птицами, небесным сводом и облаками: «нос – это древа ствол высокий», «два вещих сирина, два глаза», «открытый лоб – как свод небесный», «уста – как некий райский цвет» [7, с. 267].

Уникальным принципом, обеспечивающим это органическое единство мира, согласно акмеизму, является язык. Слово в его логосном понимании становится связующим началом, которое связывает воедино «вещное» и «вечное», «горнее» и «дольнее», пространственное и временное. Н. Гумилёв в свете этой концепции подходит к художественному произведению с таким поэтическим каноном: трепетное отношение к «слову живому», «органическая архитектура текста», полнозвучность стиха, ясность поэтической мысли, целостность художественной формы. Попыткой обобщить взгляды на «поэтическую технологию» явилась его статья

«Жизнь стиха» (1910). В ней Гумилёв проводит идею стихотворной «органики», сравнивая стихотворение с живым организмом, а тайну его рождения – с тайной возникновения жизни, манифестируя бытие органической целостности мира и художественного творчества: «В муках, схожих с муками деторождения, появляется стихотворение», поэтому «прекрасные стихотворения, как живые существа, входят в круг нашей жизни; они то учат, то зовут, то благословляют; среди них есть ангелы-хранители, мудрые вожди, искусители-демоны и милые друзья» [3, с. 9, 11]. «Эти стихотворения видишь и слышишь, им удивляешься и радуешься, точно это уже не стихи, а живые существа», – отмечает П.Н. Лукицкий [11, с. 224].

Даже стихотворные размеры у Гумилёва имеют свою «органическую» характеристику, в работе «Переводы стихотворные» (1919) он утверждает: «У каждого метра есть своя душа, свои особенности и задачи: ямб, как бы спускающийся по ступеням, свободен, ясен, твёрд и прекрасно передаёт человеческую речь, напряжённость человеческой воли. Хорей, поднимающийся, окрылённый, всегда взволнован и то растроган, то смешлив; его область – пение. Дактиль, опираясь на первый ударяемый слог и качая два неударяемые, как пальма свою верхушку, мощен, торжественен, говорит о стихиях в их покое, о деянии богов и героев. Анапест, его противоположность, стремителен, порывист, это стихии в движении, напряженье нечеловеческой страсти. И амфибрахий, их синтез, баюкающий и прозрачный, говорит о покое божественно лёгкого и мудрого бытия» [4, с. 31 – 32].

В «Анатомии стихотворения» (1921) Гумилёв разрабатывает теорию «органической поэтики», «препарировав» стихи, подобно живому организму: «Стихотворение же это – живой организм, подлежащий рассмотрению: и анатомии-

ческому, и физиологическому». По Гумилёву, структура «органической поэтики» такова: «Теория поэзии может быть разделена на четыре отдела: фонетику, стилистику, композицию и эйдологию. Фонетика исследует звуковую сторону стиха, ритмы <...> Стилистика рассматривает впечатление, производимое словом в зависимости от его происхождения, возраста, принадлежности <...> Композиция <...> изучает интенсивность и смену мыслей, чувств и образов, вложенных в стихотворение <...> Эйдология подводит итог темам поэзии и возможным отношениям к этим темам поэта» [2, с. 26 – 28]. В своей запланированной книге «Теория интегральной поэтики» [6, с. 227 – 229] Гумилёв хотел подробно рассмотреть одно из существенных положений «органической поэтики» в параграфе «Время и пространство; история и география. Статичность и углублённость (линии движения энергии)». При этом он чётко разделял понятия: «статичность» («точка», «потенциал», «прямая перспектива») и «углублённость» («линия», «движение», «обратная перспектива»), особо выделяя «движение» как «непременный атрибут любого из явлений материальной, феноменальной жизни и придавал ему мистическое значение именно в силу его всеобщности, универсальности, связывающей различные, эклектически противостоящие друг другу мировые противоположности в нечто целое», по словам Ю.В. Зобнина [9, с. 114].

А. Ахматова, размышляя об «органической поэзии», в стихотворении «Тайны ремесла. Творчество» посредством поэтических образов показывает процесс создания (разворачивания) бытия органической художественной целостности: «Бывает так: какая-то истома; // В ушах не умолкает бой часов; // Вдали раскат стихающего грома. // Неузнаваемых и пленных голосов // Мне чудятся и жалобы и стоны, // Сужается какой-то тайный круг. // Но в этой бездне шёпотов

и звонов // Встаёт один, все победивший звук. // Так вокруг него непоправимо тихо, // Что слышно, как в лесу растёт трава, // Как по земле идёт с котомкой лихо...// Но вот уже послышались слова // И лёгких рифм сигнальные звоночки, // Тогда я начинаю понимать, // И просто продиктованные строчки // Ложатся в белоснежную тетрадь» [1, с. 329]. В такой творческой «истоме» автор начинает по-особому видеть и слышать всё то, что в обычном состоянии ему неведомо. Он ощущает «вдали раскат стихающего грома» и слышит «жалобы и стоны» «неузнаваемых и пленных голосов» художественных героев, постепенно обретающих бытие.

Далее Ахматова отмечает, что всё это художественное бытие из некоей разрозненности (потенциала) предобразов, предзвуков и предкрасок «сужается» (структурируется) в «какой-то тайный круг». Так архетипический образ круга становится у автора аллегорией творческой энергии, тайной вдохновенной мистерии. Читатель глазами поэта наблюдает за этим процессом как бы со стороны, ибо художественное произведение ещё «не налилось» плотными красками жизни и не зазвучало своей неповторимой мелодией, а лишь «заявило» о себе в сознании поэта. В ушах ритмично ощутилось движение земного времени («бой часов») – и произошло чудесное рождение художественной плоти стихотворения. Случилась «художественная персонификация» формы: из непроявленного бытия «встал один, все победивший звук» (смысло- и формообразующая доминанта), вокруг которого стало оформляться поэтическое «тело» из «нужных слов в нужном порядке». При этом Ахматова актуализирует первостепенную значимость неких «сигнальных звоночков» – «лёгких рифм», на которых держится вся поэтическая форма. И вот только тогда, чуть позже бессознательного включения в Божественную волю, приходит и человеческое (авторское) понимание *стиха*-творения: «Тогда

я начинаю понимать». Это «понимание» дорогого стоит, по мнению акмеистов, здесь важна персона поэта, так как у него должна быть ответственность за плод творчества, ибо выбор – «солнце останавливают словом, словом разрушают города» – всегда за автором.

Архетип круга часто используется акмеистами в подтверждение теории органической художественной целостности. «Круг» традиционно символизирует бесконечность, совершенство и законченность. В свою очередь «законченность» – это полнота, бытийная реализованность, органическая целостность. Рассматривая творчество М. Зенкевича («Дикая порфира») и В. Нарбута («Аллилуйя»), выявляем «органические» темы и образы в их поэзии. Так уже первое стихотворение М. Зенкевича из «Дикой порфиры» (1909 – 1911) «Пары сгущая в алый кокон» содержит образ «органического круга» как представление о цикличности жизни, закономерной связи пространственно-временных координат: «И ты, мой дух слепой и гордый, // Познай, как солнечная мгла, // Свой круг и бег алмазно-твёрдый // По грани зыбкого стекла» [8, с. 5]. Само слово «круг» и его текстуральные синонимы: «орбита», «сфера», «кольцо», «ось», «вращение» встречаются в «Дикой порфире» множество раз: «Всему – весы, число и мера, // И бег спиралями всему, // И растекается во тьму // За пламенную сферой – сфера», «И он настанет – час свершенья, // И за луною в свой черёд // Круг ежедневного вращенья // Земля усталая замкнёт», «И вот – под гул ураганов // Тянет вас лунная муть // Приливом Пяти Океанов // Ось земную свихнуть!» и др. Архетип «круга» в поэзии акмеистов не случаен. Представление о жизни как о вечно движущемся круге связано с идеей органики жизни, сцепления в органическую целостность крайних «точек»: рождения и смерти, так как на оси, «изогнутой в круг», эти точки оказываются очень близкими. «Плодот-

ворить умирая» – исчерпывающий образ целостности бытия из стихотворения Зенкевича: «Под мясной багрянницей душой тоскую, // Под обухом с быками на бойнях шалею, // Но вижу не женскую стебельковую, а мужскую // Обнаженную для косыря гильотинного шею. // На копье позвоночника она носитель // Чаши, вспененной мозгом до края. // Не женщина, а мужчина вселенский искупитель, // Кому дано плодотворить, умирая» [8, с. 45].

Однако Зенкевич чересчур естественно понял призыв Н.Гумилёва к «органике слова», и в его стихах часто можно встретить чуть ли не натуралистическое уподобление каких-то явлений и событий физиологическим процессам. Читаем в его стихотворении «Радостный мир»: «О какой это радостный, сказочный мир, // Управляемый солнцами двух полушарий // И стремящийся вечно в пустынном пожаре, // Это алое мясо и розовый жир!» [8, с. 67]. Неслучайно современник Д. Усов воспринял книгу поэта так: «Мир крепкой плоти, терпкой, сочной, цельной в своей полноте, как и в своём разложении, – вот, что раскрывают перед нами стихи Зенкевича» [16, с. 11]. Гумилёв, в целом поощряя форматворческие поиски поэта, его трепетное «первородное» обращение к имени вещи, к «слову как таковому», критикует Зенкевича за излишний натурализм, поскольку тот теряет главную ценность в поэзии – красоту, ибо «вытравливая в своих стихах красоту, он иногда пренебрегает и красотой» [5, с. 116].

За органический натурализм и «галлюцинирующий реализм» критиковал Гумилёв и В. Нарбута. В одной из своих рецензий Гумилёв пишет о том, что Нарбут «возненавидел не только бессодержательные красивые слова, но и все красивые слова, не только шаблонное изящество, но и всякое вообще», поскольку его внимание «привлекало всё подлинно отверженное, слизь, грязь и копоть

мира» [5, с. 107 – 108]. В качестве примера «галлюцинирующего реализма» критик приводит строки из стихотворения Нарбута «Лихая тварь» из сборника «Аллилуйя»: «Крепко ломит в пояснице, // Тычет шилом в правый бок: // Лесовик кургузый снится // Верткой девке – лоб намок. // Напирает, нагоняет, // Рывкнет, схватит вот-вот-вот: // От онуч сырых воняет // Стойлом, ржавчиной болот» [15, с. 406]. Этим примером Гумилёв объясняет, что во всём у акмеистов должно быть чувство меры, что нельзя опускаться в стихах до грубого натурализма, и этому тоже надо учиться, так как «писать хорошие стихи теперь так же трудно, как и всегда» [5, с. 108].

Отмечаем, что архетип круга как воплощения органической целостности не только множество раз появляется в стихах Нарбута, как и у других акмеистов, но и выполняет особую функцию, являясь принципом организации художественного пространства всей книги «Аллилуйя». По этому поводу О.Лекманов пишет: «Стихотворения “Аллилуйи” значимо подсвечивают и взаимодополняют друг друга на самых разных уровнях. Среди этих уровней: единое художественное оформление книги; единство звучания её стихотворений; многочисленные образные и мотивные переключки между стихотворениями книги; единство формирующего приёма, с помощью которого организован содержательный материал “Аллилуйя”; общие сразу для нескольких стихотворений книги литературные источники» [10, с. 45]. Тема, которая смыкает стихотворения «Аллилуйи» в гипертекст, в смысло-образный круг, – тема отражения (искажения), раздвоенности, связанная с пониманием двойственности бытия. Она в разных вариантах появляется в стихотворениях Нарбута. Например, в стихотворении «В глуши» эта тема звучит по-житейски и связана с переживанием за тайные деяния, которые фиксируют лишь зеркала

(«глаза из другого мира»): «Но неуверенно и свято // Мы в опустелый входим зал, // И – в коридоре виноватом // Нас отражает ряд зеркал». В стихотворении «Сыроежки» эта тема приобретает звучание природной стихии, зарождения новых форм жизни: «И вот, когда на высшей точке // Стал полдень и схватились тени // С прямыми двойниками, тучи-одиночки // Счастливым ливнем облетели». А в стихотворении «Просека к озеру...» эта тема наполняется онтологическим смыслом: «Стоишь и видишь раздвоенность // И обнаженность всю, до дна. // В тебе – дух ясности и сонность: // Душа дождем раздвоена!» [15].

Таким образом, акмеисты воплотили в своём творчестве каждый по-своему один из главных мировоззренческих и эстетических постулатов «органической поэтики»: уподобление законов поэтического формотворчества – творению органической формы. Архетип «круга» проявляется в стихотворениях Н. Гумилёва, А. Ахматовой, О.Мандельштама, В. Нарбута и М. Зенкевича, демонстрируя первозданную органическую целостность мира и человека.

Литература:

1. Ахматова А. Стихотворения и поэмы. – Л.: Лениздат, 1989. – 606 с.
2. Гумилёв Н. Анатомия стихотворения // Гумилёв Н. Соч.: В 3 т. Т.3. – М.: Художественная литература, 1991. – 430 с. – С.25 – 28.
3. Гумилёв Н. Жизнь стиха // Гумилёв Н. Соч.: В 3 т. Т.3. – М.: Художественная литература, 1991. – 430 с. – С.7 – 16.
4. Гумилёв Н. Переводы стихотворные // Гумилёв Н. Соч.: В 3 т. Т.3. – М.: Художественная литература, 1991. – 430 с. – С.28 – 33.
5. Гумилёв Н. Письма о русской поэзии // Гумилёв Н. Соч.: В 3 т. Т.3. – М.: Художественная литература, 1991. – 430 с. – С.33 – 168.

6. Гумилёв Н. План книги «Теория интегральной поэтики» // Гумилёв Н. Соч.: В 3 т. – Т.3. – М.: Художественная литература, 1991. – 430 с. – С.227 – 229.
7. Гумилёв Н. Гумилёв Н. Стихотворения и поэмы // Вступ. статья Н.Н. Скатова. – М.: Современник, 1989. – 461 с.
8. Зенкевич М. Сказочная Эра. Стихотворения. Повесть. Беллетристика. – М.: Школа - Пресс, 1994. – 688 с.
9. Зобнин Ю.В. Странник духа: о судьбе и творчестве Н.С. Гумилёва // Гумилёв Н.С.: pro et contra / Сост., вступ. ст. и прим. Ю.В. Зобнина. – СПб.: РХГИ, 2000. – 672 с. – С.5 – 50.
10. Лекманов О.А. О трёх акмеистических книгах: М.Зенкевич, В.Нарбут, О.Мандельштам. – М.: Intrada, 2006. – 124 с.
11. Лукницкая В. Николай Гумилёв. Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. – Л.: Лениздат, 1990. – 302 с.
12. Мандельштам О. О природе слова // Мандельштам О. Четвёртая проза. – М.: Эксмо, 2007. – 640 с. – С.392 – 408.
13. Мандельштам О. Утро акмеизма // Мандельштам О. Четвёртая проза. – М.: Эксмо, 2007. – 640 с. – С. 357 – 367.
14. Мандельштам О. Четвёртая проза. – М.: Эксмо, 2007. – 640 с.
15. Нарбут В. Аллилуйя // Нарбут В. Стихотворения. – М.: Современник, 1990, – 444 с.
16. Усов Д. Поэзия М. Зенкевича // Саррабис. – Саратов. 1921. № 3. – С. 11



Авторы

Мария Игоревна Знобищева – поэт, прозаик, критик. Родилась в Тамбове, окончила Институт филологии ТГУ им. Г.Р. Державина. Публиковалась в журналах «Наши современник», «Молодая гвардия», «Подъём», «Волга – XXI век», «Вопросы литературы», «Крещатик», «Пересвет», в «Литературной газете», на сайте «Российский писатель» и др. Автор нескольких поэтических сборников. Лауреат Всероссийской литературной премии им. М.Ю. Лермонтова, премии им. Ю.П. Кузнецова, дипломант Международного Волошинского фестиваля. В 2021 г. признана «Лучшим поэтом года» по версии Союза писателей России. Руководитель Центра творческого развития детей и подростков «Мир слова» при Центральной детской библиотеке им. С.Я. Маршака г. Тамбова. Кандидат филологических наук. Член Союза писателей России.

Наседкин Николай Николаевич – писатель, литературовед. Родился в 1953 г. в Читинской области. Окончил факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, ВЛК при Литинституте имени А.М. Горького. Публиковался в журналах «Наши современник», «Москва», «Нева», «Урал», «Подъём», «Южная звезда», «Российский колокол», «Литературное обозрение» и др. Автор 15 книг, в т.ч., «Самоубийство Достоевского», «Достоевский: Энциклопедия». Изданы книги в Польше, Черногории. Лауреат премии Тамбовской области им. Е.А. Боратынского, Международной драматургической премии «Евразия», дипломант премии «Хрустальная роза Виктора Розова», награждён медалью «К 100-летию М.А. Шолохова». С 2003 по 2013 год возглавлял Тамбовское отделение Союза писателей России.

Аршанский Валерий Семёнович – прозаик, публицист, журналист. Окончил Воронежский государственный университет, с 1967 г. живёт в Мичуринске. С 1973 г. работал в газете «Мичуринская правда», долгое время был её главным редактором. Автор книг прозы: «Дипломная практика», «Фольклорная экспедиция», «Встреча», «Откровение», «Горькая трава марор», «Бремя атлан-

та», «Гражданский проспект» и др. Лауреат премий имени И.А. Гаврилова, имени А. К. Воронского. Заслуженный работник культуры РФ. Почётный гражданин Тамбовской области. Член Союза журналистов и Союза писателей России.

Доровских Сергей Владимирович – прозаик, публицист. Окончил ТГТУ (кафедра «Связи с общественностью»). С 2004 г. в журналистике. Главный редактор газеты «АиФ в Тамбове», главный редактор журнала «Литературный Тамбов». Автор 6-ти книг. Публиковался в журналах «Наш современник», «Роман-газета», «Молодая Гвардия», «Пересвет», «Подъём», «Новая Немига литературная», «Памир», «Сухум», «Губернский стиль», в «Тамбовском альманахе» и др. изданиях. Лауреат областной журналисткой премии имени И.И. Овсянникова. Лауреат премии им. Л.М. Леонова журнала «Наш современник». Лауреат литературного конкурса «В поисках правды и справедливости». Член Общественной палаты Тамбовской области. Член Союза писателей России.

Зайцева Елена Михайловна – поэтесса. Родилась в Омске. Закончила художественное училище в Бишкеке и Омский технологический институт. По профессии – модельер. Много лет жила и работала в Санкт-Петербурге. Автор трёх сборников стихотворений: а «Перекрёсток стихий» (2012), «Перекрёсток надежд» (2014), «Оставь меня себе на память» (2015). Публиковала стихи в коллективных сборниках, в журналах «Сфинкс» и «Литературный Тамбов». В 2016 году стала финалистка VIII Международного литературно-музыкального фестиваля «Мгинские мосты без границ». Член Союза писателей России.

Соколов Сергей Владимирович – поэт. Родился в г. Боброве Воронежской области в 1958 году. Окончил Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище. Проходил службу на атомных подводных крейсерах Северного и Тихоокеанского флотов. Капитан второго ранга. После ухода на пенсию работал преподавателем в школе. Литературным творчеством занимается с 2008 года. Автор книг стихов и прозы: «Гусиная заря», «Моя Россия», «Карасик золотой», «Сонькины сказки», «Авокадо». Печа-

тался в журналах и альманахах Липецка, Воронежа, Тамбова Лауреат межрегиональных и всероссийских фестивалей авторской песни в номинации «Поэзия» Обладатель гран-при Бунинского фестиваля авторской песни и литературы малых форм

Попов Денис Николаевич – поэт, прозаик, переводчик. Родился в 1979 г. в с. Усть-Цильма Коми АССР. Проходил службу в пограничных войсках в г. Воркуте. Работает вахтовым методом в агентстве «ЛУКОМ-А-Север» на объектах «Лукойл». Участник республиканского семинара молодых авторов (Сыктывкар) 2015, участник Всероссийского семинара переводчиков (с.Биб Сиктывдинский р-н Республика Коми) 2019. Публиковался в журналах «Север» (Петрозаводск), «Ротонда» (Киров), «Сибирские огни» (Новосибирск), во многих альманахах. Автор сборника стихов «Лиственничное небо»(Сыктывкар).

Павел Широглазов - поэт. Родился в 1985 году в Иркутске, живет и работает в Череповце. Сотрудник литературного музея Николая Рубцова, занимается фольклорным театром: с 2017 года является руководителем бродячего театра кукол «Етишкина Жизнь». Много странствует по стране, проводит литературные вечера, спектакли, музыкально-поэтические концерты (скашивает стихи под аккомпанемент гуслей, колесной лиры и других русских музыкальных инструментов). Автор двух поэтических книг. Член Союза писателей России, член Российского фольклорного союза.

Краснов Василий Анатольевич – историк, публицист, поэт. Родился в 1958 г. в Воронежской области. С 1965 г. проживает г. Жердевка Тамбовской области. Закончил историко-филологический факультет ТГПИ. Работал учителем истории, географии и немецкого языка, инспектором РОНО. Кандидат исторических наук, преподавал в филиалах ТГУ им. Г.Р. Державина и МГУТиУ. Основатель и руководитель музея истории Жердевского колледжа сахарной промышленности. Публиковался в журналах «Подъём», «Литературный Тамбов», в «Тамбовском альманахе». Автор книги, посвящённой истории села Сукмановка, книги публицистики «За наградами не гнались», сборников стихов.

Дорожкина Валентина Тихоновна - поэтесса, прозаик, литературовед. Родилась в 1939 г. в Мичуринске. Окончила историко-филологический факультет ТГПИ. Работала ст. редактором в Центрально-Чернозёмном книжном издательстве. Автор более тридцати книг, один из авторов «Тамбовской энциклопедии». Лауреат литературных премий: имени Е.А. Баратынского, имени Зои Космодемьянской, имени первого редактора газеты «Тамбовская правда» И.А. Гаврилова, имени издателя И.Г. Рахманинова. Заслуженный работник культуры РФ, Почётный профессор ТГУ имени Г.Р. Державина, Почётный гражданин города Тамбова. Награждена орденом Дружбы, медалями «К 100-летию М.А. Шолохова» и «Шукиин». С 1985 г. руководит детским литературно-творческим объединением «Тропинка». Член Союза писателей России.

Елена Викторовна Чистякова – прозаик, баснописец, педагог, работает в жанре фольклорного повествования с использованием самобытного южно-русского говора. Автор книги повестей «Житнейские истории», серии популярных книг «Сказы деда Савватя», серии книг «Современных басен», а также автобиографической повести «Бережком вдоль Громушки, бегущей по камешкам». Публиковалась в «Тамбовском альманахе», в журналах «Молодая гвардия», «Губернский стиль» (г. Воронеж), «Литературный Тамбов», в сборнике очерков и рассказов издательства «Художественная литература» (г. Москва). Член Союза писателей России.

Богданова Вера Юрьевна – филолог, писатель. Родилась в 1986 г. в Новосибирске, затем семья переехала в Тамбовскую область. Закончила институт филологии ТГУ имени Г. Р. Державина. Работает в Детской библиотеке г. Котовска, ведёт занятия с одарёнными детьми, выступает с инициативой создания литературной студии высокого профессионального уровня для поэтов и прозаиков города, продвижением которых она занимается как библиотекарь. Рассказы публиковались в журналах «Подъём» (Воронеж), «Сибирские огни» (Новосибирск), «Литературный Тамбов». Член Литературного актива Тамбовского отделения СПР.

Марков Валерий Александрович – поэт, публицист. Родился

в 1948 году в Сампурском районе Тамбовской области. Окончил Тамбовский государственный педагогический институт и Северо-Кавказский социально-политический институт. Служил в армии, имеет офицерское звание. Работал – первым заместителем главного редактора газеты «Тамбовская жизнь». Автор шести стихотворных сборников, книги публицистики «С красной строки», изданных в Тамбове, публикаций в коллективных сборниках и периодике. Заслуженный работник культуры РФ. Лауреат премии: имени А. К. Воронского, В. А. Богданова, И. Г. Рахманинова. Член Союза писателей и Союза журналистов России.

Джурович Наталия Александровна (Унгерова) – поэт. Родилась в Москве, детство провела в селе 1-ая Иноковка Тамбовской области. В 2009 г. закончила филологический факультет Российского Православного университета св. Иоанна Богослова. По окончании университета переехала в Черногорию, автор и преподаватель курса русского языка для сербов. Переводит прозу и поэзию с сербского языка на русский. Постоянный переводчик сайта <http://studenicainfo.rs/> Автор книг «Нескончаемое лето», «Крестоносная Румия/Румија крстоносна» (автор и переводчик), «Двуречие». Публиковалась в журналах «Наш Современник», «Гостинный дворъ», «Подъем», «Волга 21 век», «Эхо Бога», «Славянская лира». Лауреат конкурса им. Григорьева.

Волчихин Михаил Васильевич – поэт. Родился в 1958 году в деревне Егоровка Тамбовской области. Окончил филологический факультет Тамбовского педагогического института. Работал в редакции местной газеты, в органах местного самоуправления, в ПАО «Ростелеком» Публиковался в региональной прессе, в журналах «Литературный Тамбов» и «Подъем» (Воронеж), в коллективных сборниках. Автор двух поэтических сборников «Ясень» и «Мы возвращаемся». Через все стихи автора красной нитью проходит любовь к малой родине, к России. Живет в городе Жердевке.

Зорина Анна Владимировна - поэт. Родилась и выросла в Петропавловске (Казахстан). Закончила Северо-Казахстанский государственный университет им. Манаша Козыбаева. Живёт в Новосибирске, входит в состав творческого объединения «Dark

Romantic Club» и «Городские сказки. Новосибирск» Принимала участие в различных литературных конкурсах, фестивалях и семинарах.

Дроздова Наталья Владимировна – поэт. Родилась в с. Нежеголь Белгородской области. Закончила факультет журналистики МГУ им. Ломоносова. Работала в Шебекинской городской библиотеке, в газетах «Красное знамя», «Знамя», в книжном издательстве «Крестьянское дело» в Белгороде. Редактор журнала «Добродетель» (издание Марфо-Мариинского сестричества милосердия). Автор 6-ти сборников стихов. Лауреат премии «Прохоровское поле». Член Союза писателей России

Наталья Мусинова – доктор культурологии, профессор Военной академии. Родилась и живет в Костроме. Издавалась в журналах: «Юность», «Молодая гвардия», «Русский путь на рубеже веков», «Площадь Первоучителей», «Арина», «Неimat» (Германия), «Кострома литературная», «Энтелехия», «Губернский дом», «Костромской собеседник». Автор шести художественных книг. Победитель и призёр литературных конкурсов: «Серебряный стрелец», «Deutsche aus Russland», «Новые писатели», «Золотая строфа». Лауреат литературной премии имени А.Ф. Писемского. Член Союза писателей России, председатель Костромской областной писательской организации.

Содержание

ЭПИГРАФ

Вячеслав Богданов. Русь. *Стихи* 3

ПОЭЗИЯ

Мария Знобищева. Осенние собеседники. *Стихи* 4

Елена Зайцева. «Облака рисуют мелом...» *Стихи* 134

ПРОЗА

Валерий Аршанский. Отпускница. *Рассказ*..... 71

Сергей Доровских. Шиндяй. Колдун тамбовских лесов.

Главы из романа 78

Елена Чистякова. Четыре червонца. *Рассказ* 175

ИМЕНА

Николай Наседкин. Три романа Достоевского.

К 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. Очерк.. 15

ГОСТЬ АЛЬМАНАХА

Сергей Соколов. Подводная лодка. *Стихи* 142

Денис Попов. Дым Отчизны. *Стихи* 149

Павел Широглазов. «Очи свои обращаю на север».

Стихи..... 154

ИСТОРИЯ

Василий Краснов. Смерть царицы романа. К столетию

гибели графини Т.К. Толстой. *Исторический очерк* 161

ЮБИЛЕЙ

Валентина Дорожкина. Выбор – один и на всю жизнь.

К юбилею профессора Ларисы Васильевны Поляковой.

Очерк..... 169

НОВЫЕ ЛИЦА

Вера Богданова. Земляничное утро. *Рассказ*..... 203

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Интервью И.А. Николаева. Космические орбиты Тамбовщины.
К 60-летию первого полёта человека в космос. 225

ФЕСТИВАЛЬ

Наталия Джурович. «Печаль как хлеб, разломится на
части...» *Стихи.* 237

Михаил Волчихин. «Стихи восходят до молитв...» *Стихи*.....247

Анна Зорина. «Этот город доверчиво юн...» *Стихи*.....250

Наталья Дроздова. «Встречай меня...» *Стихи*..... 252

АКАДЕМИЯ ПОЭЗИИ

Наталия Мусинова. Архетип круга в «органической
поэтике» акмеизма. *Статья*..... 257

АВТОРЫ..... 267

Тамбовский альманах № 22

Литературно-художественное издание
Тамбовского отделения Союза писателей России

Главный редактор
Юрий МЕЩЕРЯКОВ

Редакционный совет

Олег АЛЁШИН
Валентина ДОРОЖКИНА
Мария ЗНОБИЩЕВА
Сергей КОЧУКОВ
Татьяна КУРБАТОВА
Елена ЛУКАНКИНА

Корректор
М.И. ДУБРОВИНА

Вёрстка
Ксения ПОПОВА

ISBN 978-5-6047343-3-9



Формат 60x84 1/16
Бумага *mu print*. Печать цифровая
гарнитура *Minion Pro*. Печ. л. 16.04
Тираж 300 Заказ №29
studiapechati@bk.ru
Студия печати Галины Золотовой